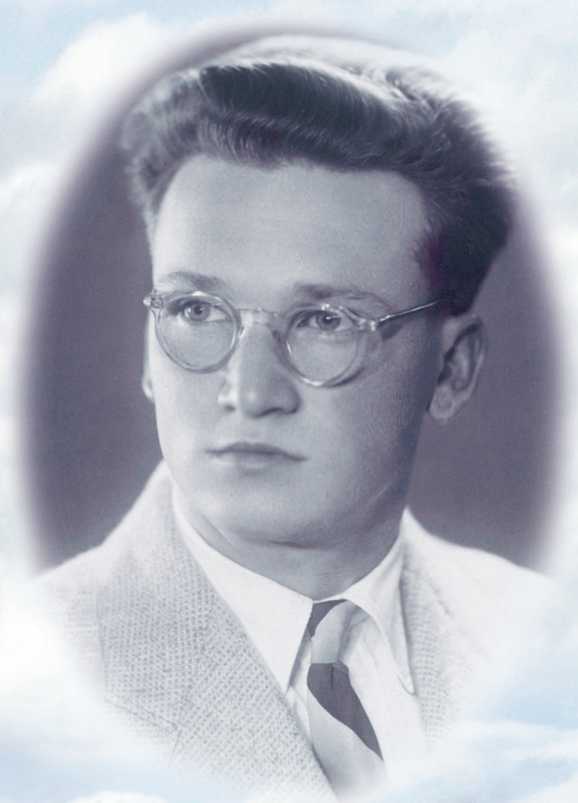


Марк РАИК



ОБРЕТЕНИЕ БОГА

Сквозь призму времени и событий



Марк РАИК

ОБРЕТЕНИЕ БОГА

или

Сквозь призму времени и событий

Марк РАИК

ОБРЕТЕНИЕ БОГА

или

Сквозь призму времени и событий

Марк Раик

ОБРЕТЕНИЕ БОГА, или Сквозь призму времени и событий — Штутгарт, 2011. — 192 с.

Книга «Обретение Бога», рассказанная в форме писем к детям, — история семьи автора. Она примечательна тем, что описывает жизнь в еврейской среде значительной части XX века. Для читателей, которые не знакомы с обычаями, бытом и условиями жизни евреев в Советском Союзе, эта книга может стать своего рода ключом к пониманию своих ровесников из еврейского народа, их целей, их сомнений, их поиска и, в конечном итоге, как в случае с Марком Раиком, обретения внутреннего мира и покоя. Для читателей, соплеменников автора, будет интересен путь к Богу человека, который, как и они, вырос в атеистической стране, в секуляризированной атмосфере советской еврейской интеллигенции, вдали от страны предков и ее культуры. При всей разности пути читатель увидит нечто единое и универсальное: путь у каждого свой, но только по обстоятельствам и условиям жизни, а не по отношению к истине и ответам на вопросы сердца.

Редактор Валентина Новомирова

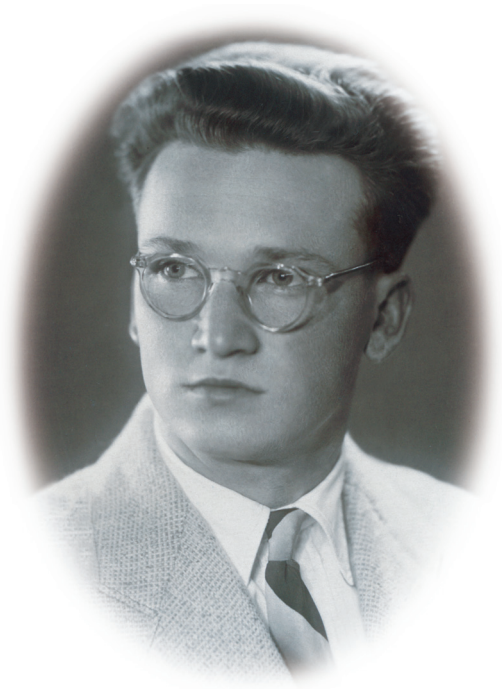
Корректор Елена Пеннер

Изд. № 01.451

ISBN 978-3-939887-89-8

© «Свет на Востоке», 2011

© Марк Раик



ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия	7
Письмо первое. Дядя	12
Письмо второе. Тетки (Раик)	26
Письмо третье. Тетки (Школьники)	37
Письмо четвертое. Тетки (продолжение)	55
Письмо пятое. Эвакуация, Челябинск	58
Письмо шестое. Ленинград, детство	65
Письмо седьмое. Школа, товарищи	70
Письмо восьмое. Школа, товарищи (продолжение)	87
Письмо девятое. Школа, товарищи (окончание)	94
Письмо десятое. Учителя	102
Письмо одиннадцатое. Институт	119
Письмо двенадцатое. Институт (продолжение)	124
Письмо тринадцатое. Институт (продолжение)	134
Письмо четырнадцатое. Институтские товарищи	144
Письмо пятнадцатое. Женидьба, работа	154
Письмо шестнадцатое. ВНИМИ	165
Письмо семнадцатое. Эмиграция	176

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Сейчас, начав писать о прожитом, «о времени и о себе», пытаюсь воссоздать прошлое, я представляю себя 14–15-летним подростком, стоящим в яркий солнечный день на берегу Средней Невки, спиной к величественному дому с кариатидами, поддерживающими балконы на его фасаде, в котором мы жили. Стою лицом к Елагину острову, парку моего детства и юности. Оглядываясь на пройденную жизнь, я отчетливо вижу события, повлиявшие, а вернее, приведшие меня к Богу. Все они выстраиваются в последовательный и логический ряд. Некоторые из них оставили рубцы или незаживающие до сих пор раны. Прежде всего, это окончание школы, при котором меня, сдавшего все выпускные экзамены на пятерки, лишили медали, затем поступление в институт, состоявшееся лишь со второго захода, да и то в горный.

В этот ряд входят, конечно, не только события, оставившие рубцы, но и приятные, такие, как знакомство и в дальнейшем сближение с Финаревским, ранняя женитьба, притом на нееврейке. Но открывается ряд, на первый взгляд (но только на первый), событием, казалось бы, выпадающим из него. Оно относится к моменту окончания седьмого класса — разрыв дружбы с Ильей и прекращение контактов с его семьей. А заканчивается этот ряд событий занятиями в доме Вальдемара Цорна в кружке по изучению Священного Писания.

Конечно, все, что тогда произошло, как и многое другое, вроде бы не составляющее непосредственно единого ряда (но ведь у Бога не бывает случайностей), я опишу дальше подробнее. Но стержень, их логическую связь, целесообразно хотя бы коротко, в нескольких предложениях, наметить сейчас.

Итак, разрыв дружбы с Ильей привел к тому, что я перестал бывать у него дома и испытывать влияние атмосферы его семьи, определявшейся в огромной степени его незаурядным отцом. Его отец был разносторонне образован, работал журналистом в центральной городской газете «Ленинградская правда», знал несколько языков, в том числе иврит, играл на пианино. Но самым существенным в свете рассматриваемого вопроса надо признать то, что он был националистом и сионистом (в хорошем смысле этих слов). Его национализм и сионизм были естественной ответной реакцией на государственный антисемитизм в стране. Правда, все это стало мне ясно спустя более полувека, хотя здоровый еврейский национализм, царивший в семье, гордость за принадлежность к избранному народу, я чувствовал и прежде, когда бывал у Ильи дома. Вообще следует понимать и принимать во внимание, что еврейский национализм, не связанный с принижением других народов, коренным образом отличается от национализма представителей больших наций, часто приводящим к фашизму. Так вот, если я вырос и сформировался как советский человек и поздно разочаровался в коммунистических идеалах и обещаемом светлом будущем, хотя, конечно, чувствовал

окружавшую нас ложь, то мой школьный друг и товарищ под влиянием отца (это влияние чувствуется до сих пор, хотя уже лет десять, как отца Ильи нет) еще в ранней юности разочаровался в навязываемых пропагандой идеалах. Он стал убежденным сионистом, подпольно изучал иврит и в числе первых, как только образовалась щель в «железном занавесе», репатриировался в Израиль. Думаю, что и я, оставаясь под влиянием их семьи, много раньше не только задумался бы об окружающей нас фальши, но непременно заразился бы национальными и сионистскими идеями и тоже стал бы стремиться попасть в Израиль и, в конце концов, оказался бы там. А потом, если бы я и поверил в существование Творца, то, скорее всего, увлекся бы традиционным иудаизмом и был бы далек от истинной веры в Бога, Мессию Израиля и других народов. Такое возвращение к традиционному иудаизму можно наблюдать среди молодого поколения в наше время, если не сплошь и рядом, то довольно часто.

Дальнейшие события прочно связывают последующие звенья в неразрывную цепочку. Лишение медали при окончании школы, поступление в горный институт, знакомство там и в дальнейшем сближение с Финаревским привели к тому, что я, вслед за ним, получил возможность эмигрировать в Германию. Сюда же вписывается женитьба. Женившись, я оказался в окружении хороших, порядочных людей, но очень далеких от всего еврейского. У меня даже мысли не могло появиться об отъезде. Да такие мысли в моей голове и не появлялись. Только Финаревский и, как это ни парадоксально, Роза

подвигли меня на подачу заявления об эмиграции, при-
том не в Израиль.

А здесь, в Германии, я «вдруг» обнаружил, что Бог существует, что все сотворено по Его Слову. Я понял, что вера — это не только признание Его существования, как мне представлялось прежде, но доверие Ему во всем. Надо стремиться постичь живого Бога, читать, вникать в Его Слово, Священное Писание, слышать и стараться понимать, что Он говорит, обращаясь лично к каждому человеку. В Германии я стал Его служителем, распространителем знаний о Нем; десять лет постигая Творца, принимал участие в выпуске еврейского мессианского журнала «Менора» и до настоящего времени, по мере сил, служу на ниве распространения Благой вести о Мессии Иешуа. «Открытие» Бога, вера в Мессию, покаяние и погружение в Него были лишь первыми шагами на пути в Его покой. Постижение Непостижимого Бога продолжается, ибо вся жизнь есть восхождение в Дом Бога.

Сейчас, когда меня больше всего заботит будущее моих сыновей, я решил рассказать им о своем долге, но на последнем этапе простом и легком пути к Богу.

*Минувшее проходило предо мною —
Давно ль оно несло, событий полно,
Волнуясь, как море-океан?
Теперь оно безмолвно и спокойно.*

А. С. Пушкин

Письмо первое.

Дядя

Дорогие мои мальчики!

Так получилось, что между нами не в ходу были доверительные разговоры, которые очень сближают. Тем не менее, я чувствую близость и любовь вашу, что, вообще говоря, естественно между родными людьми, но откровенных разговоров у нас и сейчас мало. Вы мало делились с родителями своими заботами и тревогами в школьные годы и позже, а мы мало, даже очень мало, и в этом наша вина, расспрашивали вас, не вмешивались в ваши детские и отроческие дела. (В отличие от тети Нади, которая всегда была в курсе школьных, а в дальнейшем, видимо, и не школьных дел своих детей.) Мне казалось, что знание о нас и наших ближайших предках приходит само собой, впитывается из атмосферы семьи, как это происходило в семье моей мамы, с которой у нас тоже не было таких доверительных бесед. То, что я знаю, — это результат услышанных «краем уха» обрывков разговоров, отдельных кусочков воспоминаний старших, их мимолетных замечаний. Из этих кусочков и создавалась семейная атмосфера. Но на самом деле это не так, ничего в воздухе не носится. Вернее, носится, но столь мало, что вы, думаю, почти ничего не знаете о наших предках. А я бы хотел, чтобы вы о них знали.

Веня иногда спрашивает, а Жека, думаю, его тоже это волнует, но он из-за своей замкнутости не спрашивает. Теперь, когда мы встречаемся, до таких разговоров тоже как-то не доходит. Поэтому решил писать, чтобы не получилось, как у нас: не успели мы расспросить ни маму, ни ее сестер, ни папиных.

Жизнь как-то быстро прошла, а казалось, что ей не будет конца. Я не оглядывался — заедала текучка и всегдашние заботы, связанные со стремлением пробиться и удержаться на плаву. Хотя я помню еще на Гражданской, когда ставили Высоцкого («мы не успели, не успели оглянуться, а сыновья, а сыновья уходят в бой»), мысль о том, что жизнь утекает, появлялась, вернее, о том, что вот как быстро вы уже стали большими.

Хочу записать то, что помню, чтобы лучше узнали меня и моих близких. Мне сейчас уже не у кого спросить, а вопросы появляются не только у вас, но и у меня самого. Дядя Гриша всего не помнит. Например, есть довоенные фотографии: лето в Дудергофе, семь сестер. Моя мама тогда уже, видимо, жила в Ленинграде, другие тоже. Еще фото примерно того же времени, возможно, даже сделанное в тот же день, где вместе с другими родственниками Школьников и Рудеров изображена наша мама — ваша бабушка. (Я всюду пишу «наша мама», не отделяя себя от сестры.) Не можем точно установить год. Судя по всему, это еще до нашего появления на свет, так как мама там одна. Но на снимке также Аллочка Рудер, 1936 года рождения, которой тогда было уже года 3-4, стало быть, должны были существовать и мы с

Фаней, но мама там без нас. (Прочтя эти заметки, тетья Фаня меня поправила, сказав, что Аллочка родилась, по всей вероятности, в 1934 году, и потому противоречия никакого нет, хотя на снимке она выглядит старше двух лет. Не хочу исправлять уже написанное и добавлю сделанное маленькое «открытие». На одном экземпляре фотографии семи сестер обнаружил надпись, говорящую о том, что снимок сделан в 1940 году.)

Наверняка, эти записки, которые интересны более всего мне самому и, пожалуй, тете Фане, будут клочковатыми, непоследовательными, с повторами: намерен писать то, что придет на память, по ассоциациям, как это бывает в реальности. Хочу, чтобы не прерывалась связь времен, поколений. Раньше, в дни нашей молодости и зрелости, как-то не принято было вести семейные хроники, интересоваться предками. Обстоятельства сложились так, что мало запечатлено на фотографиях, пропали даже некоторые, которые зрительно хорошо помню.

А откладывать уже некуда: 66! Сколько осталось, никто не знает... Мы с мамой давно уже идем, по выражению Шолом-Алейхема, с ярмарки, с праздника. Была ли наша жизнь праздником?

Итак, начну с линии отца, вашего деда. Ваш дед, мой отец, которого я практически не знал или знал только по рассказам, был исключительно порядочным, происходил из очень бедной, совестливой семьи. Его братья и сестры, все очень разные, были очень умными, способными к учебе (вы лучше других знали Гиту

и можете по ней судить о них и их интеллекте). Но не все получили достаточное образование. (Тетя Рая всю жизнь «комплексовала» по этому поводу.) Ваш дед имел среднее образование (автодорожный техникум) и работал прорабом, строил дороги. В письме тете Ане (маминой сестре) с семьей он пишет, что работает техником. Его родителей я никогда не видел, да и они меня, наверное, не успели увидеть. Деда звали Ирмен, бабушку Баше-Риве (Ривке). Ее девичья фамилия Каган. Она была умной (на основании примеров из рассказов теток, в основном Раи), но, по всей вероятности, суровой. Моя мама ее побаивалась, хотя видела ее всего несколько раз. (Опять добавление. После e-mail'а тети Фани вспомнил некоторые подробности, когда-то рассказанные мамой. Родив тетю Фаню, мама заболела родовой горячкой. По ее словам, при такой болезни в те времена выживала одна из тысячи. Во время болезни она находилась у родителей папы: Ирмена и Баше-Ривке. Мама, считая ребенка причиной своей болезни, все время хотела бросить тетю Фаню в топившуюся печку. Никого к себе не подпускала, кроме папиного брата Бориса. Выходила ее приехавшая ее мама, наша бабушка Буня.) Допускаю, что впечатление моей мамы о суровости Баше-Ривке было ошибочным.

Леня Бутман нашел в интернете истоки нашей не совсем обычной фамилии — она не характерна ни для какой нации. Ему удалось узнать, что наша фамилия восходит к выдающемуся раввинскому авторитету и кодификатору, автору «Шулан Арух» (см. КЕЭ) —

Рабби Иосифу бен Эфраим Каро (1488 — 1575) — Раик. Я бы не очень настаивал на этой версии, так как он умер в Палестине, а наши предки пришли в Россию, по всей вероятности, из центральной Европы. Хотя за 3-4 века все могло произойти. Что касается самой возможности такой аббревиатуры, то она выглядит достаточно убедительной: один из самых знаменитых комментаторов Танаха и Вавилонского Талмуда Рабби Шломо Ицхаки известен под именем Раши.

Дед Ирмен был меламедом и что-то вроде камениотеса — обрабатывал надгробные камни-памятники. В Лукомле, где они с бабушкой, вместе с другими евреями, были расстреляны, заботами теток и местных жителей на месте их гибели установлен памятник с фрагментами его работы. Вероятно, тетки выбрали что-то из его старых уцелевших работ.

Старики были довольно религиозны. Характерный пример: когда они, приехав впервые в Москву, познакомились с тетей Шурой (Александрой Николаевной Гофмейстер), женой Савелия (1900 — 1960), третьего по порядку брата папы, где она жила с Савелием, то тетя Шура первым делом сразу пошла с дедом Ирменом в магазин и купила новую, стало быть, кошерную, посуду. Этим она завоевала сердца стариков, хотя в соответствии с их понятиями Шура, мягко говоря, мало подходила для жены Савелия — возраст и национальность. Но они, как я понимаю, не были «упертыми» в вопросах религии (да и не только религии). Возможно, сказывалось и время — многие их дети (Исаак, Савелий, Аня, Рая

и Гита) были пылкими, убежденными комсомольцами и позже коммунистами-атеистами. Не знаю, преуспели ли в этом папа с Борисом до войны, но думаю, что, идя в бой, Борис, если еще не был партийным, писал: «Прошу считать меня коммунистом». (Уже написав эти строки, я, перечитывая сохранившиеся фронтовые открытки Бориса, адресованные тете Шууре, прочел, что он радовался получению партбилета в 1942 г.) К слову, Гита и в последние десятилетия уходящего века с трудом отходила от своих убеждений, хотя видела и на себе прочувствовала не только 37-й год, но все считала, что это «перегибы на местах». Трудно расставалась с юношескими иллюзиями, верила в истинных коммунистов, какой была сама, и такими были ее старшие братья.

Что я знаю о Савелии и Шууре? (Правда, кое-что пока еще можно спросить у Танечки Любивой.) Что она была много старше его (по словам мамы, чуть ли не на лет, эдак, 15), что выходила его после ранения в Гражданскую войну, будучи сестрой милосердия. Она была из обрусевших немцев, из «бывших», возможно, из дворян, но, скорее всего, просто из образованных, очень порядочных интеллигентов. Не знаю образовательного ценза тети Шуры, но в пятидесятых годах и до выхода на пенсию она работала тоже, как и Савелий, в МГУ. Впрочем, еще со времен войны. (См. адрес на военных открытках Бориса.) Савелий еще до войны защитил кандидатскую диссертацию. Во время войны, по дошедшим до нас, не знаю, каким образом, словам тети Шуры, кто-то защитил его докторскую. Он был

очень способным. Об этом говорит то обстоятельство, что его после окончания университета оставили на кафедре, тогда как его товарища и земляка, тоже очень способного Бориса Долгопоска (попал в БСЭ, см. т. 8), отправили в, мягко говоря, не столичный город Ярославль. Там тот сразу после войны (1946) защитил кандидатскую, за которую ему присвоили докторскую степень. В дальнейшем он очень успешно продвигался (1958 — чл.-кор.; 1964 — акад. АН СССР; 1963 — Герой Соц. Труда). Возникающие при этом вопросы снимает следующая пикантная подробность: по документам этот чистокровный еврей был Борисом Александровичем и белорусом. Савелий же, вернувшись с фронта, пробиться не мог — шла борьба с безродными космополитами. Хорошо еще, что не уволили или чего похуже. Впервые мы с тетей Фаней увиделись и познакомились с Савелием и тетей Шурой в 1952 году, когда возвращались летом из г. Молотова, где гостили у теток, в Ленинград.

У папы было три старших брата, один младший и четыре сестры. Плюс один, умерший в младенчестве, Шмерл. Хася рассказывала, что на ее глупое замечание по поводу его смерти, будто в их бедной семье стало меньше ртов, Баше-Ривке ответила: «Дура, тебе хватает и ему бы хватило». Похоже, что это происходило уже после, по крайней мере, 1917 года. Хасе было не менее трех-четырёх лет, и было уже много голоднее, чем до войны 1914 года и до революции 1917 года, то есть он был самым младшим. Только сейчас, когда пишу это

письмо, сообразил, что Шмерл был вторым младшим братом отца. Иосиф, Исаак (кто из них старше — не знаю, так как сведения о самом существовании Иосифа до нас с Фаней доходили случайно, из полунамеков — наличие родственников за границей скрывалось вплоть до самого конца 80-х) и уже упомянутый Савелий и младший — Борис. Борис (род. в 1916 г.), по отзывам теток, был самым мудрым из всей семьи — старшие с ним советовались. «Старшим», лидером, он родился. Пример. В середине 30-х они с папой поехали в Биробиджан. Там было так хорошо, что они очень быстро вернулись. Но вернуться по тем временам было трудно — держали и не отпускали. По словам теток (кажется Раи), если бы не Борис, они бы там застряли надолго. При этом надо учитывать, что отец тоже не был тухой. Предполагаю, что, именно возвращаясь с Дальнего Востока, они познакомились с мамой. Мама всегда говорила, что ей больше нравился Борис, но предложение ей сделал папа. Она сразу «выскочила» замуж, так как считала себя некрасивой и опасалась «остаться на бобах». Папа же был очень обаятельным, умным, самостоятельным, на него она могла опереться, а ведь ей было всего 17 лет. Мама нас так воспитала, вернее, так высоко ставила папу, так рассказывала о нем, что у нас иногда возникал вопрос: как папа, такой красивый, обаятельный, умный и, по словам мамы, «толковый», выбрал маму. Ведь она часто говорила, что была самой некрасивой из всех сестер, во всяком случае, считалась таковой. Она как-то случайно подслушала, как Даша — самая стар-

шая из сестер Школьников — в разговоре с бабушкой Буней с тревогой сокрушалась: «Что мы будем делать с Рахилькой? Она такая некрасивая, ее никто замуж не возьмет». Ирония судьбы заключается в том, что мама дважды была замужем и оба раза счастливо (то, что С. Ю. был страшным эгоистом, дела не меняет), а Даша оставалась всю жизнь одинокой. Характеристику Даше дам позже, когда дойду до семьи Школьников.

Сестер, как я уже писал, у папы было четверо. От тетках сообщу больше подробностей, так как знал их ближе, хотя познакомился уже в солидном возрасте, да и встречались не очень часто, а вместе никогда не жили.

Итак, о дядях. Об Иосифе я ничего не знаю. Каким он был, наверное, Женя знает со слов его сыновей больше, но мне представляется, что он был по характеру мягким. По рассказам Гиты (она с ним переписывалась до войны и вплоть до 1946 года, исключая, разумеется, период с 1941 —го по 1945-й): он в письмах все звал кого-нибудь приехать в Америку, наверное, и родителей тоже, ведь он был там очень одинок.

Исаак в моем представлении — строгий в семье и партийный начальник на службе (не самого высокого ранга, но все же). О его порядочности и доходившей до абсурда щепетильности говорит следующий пример. В район, где он жил с семьей, привезли яблоки. Тогда все, как всегда при советах, было достаточно дефицитным, а возможно, был не сезон, и яблоки надо было «доставать». Какие-то подхалимы (ведь он был начальником районного масштаба) притащили корзину

яблок его жене Розе. Она, зная его, спрятала подношение куда-то в чулан. Придя с работы домой, Исаак сразу унюхал, а может, просто знал своих подчиненных и с порога, поведя носом и обращаясь к Розе, грозно сказал: «Эз шмект мит эпл! (Что-то пахнет яблоками!) Возьми и отнеси, где взяла!» Это мне рассказала в 1962 году, когда я был в командировке в Свердловске его вторая жена Роза, мать Нели Свердловской. (Свердловской ее называли в отличие от Нели Московской, дочери Савелия). Первая жена Исаака, Ида, умерла от туберкулеза легких. Их старший сын, Доля (Давид), умер тоже от туберкулеза в 1937 году. Вторым сыном, Яша, тоже туберкулезник, дожил до старости и умер в 90-х годах в Израиле. Фаня с ним встречалась и знала его дочь. Мне не довелось. Они жили в Кишиневе.

Отец, ваш дед, был самолюбивым, независимым по характеру, самостоятельным (да все они, рано уходя из дому во взрослую жизнь, были самостоятельными), в семье был лидером. Мама, будучи на восемь лет моложе и по характеру ведомой, вполне ему подходила: обиды оставляла внутри, о некоторых рассказала нам лишь спустя годы, и то, наверное, потому, что отца уже не было. О его самолюбии говорит письмо к тете Ане (Хае Школьник). Чтобы понять его содержание, надо знать подоплеку. Мама тогда училась в Ленинграде в ветеринарном институте. В другой с ее еврейской семилеткой и училищем (или техникумом, где она получила специальность учителя идиш), видимо, не взяли, а может, поздно приехала из Сенно. Поступить в ве-

теринарный (опять же по-видимому, ибо спросить не у кого) поспособствовал ее дядя Израиль Хейфец, брат нашей бабушки, известный ветеринарный врач. После войны он не раз представлялся к званию заслуженного врача республики, но так и не был удостоен оно. Жила мама у Ани в Басковом переулке в 13-метровой комнате в коммуналке. Уже позже они (их семья, точнее Давид) получили прекрасную комнату, опять же одну и в коммуналке, на Крестовском, где впоследствии мы с тетей Фаней провели наше детство, отрочество и юность. Семья же Рудеров еще перед войной, (а скорее всего, во время войны, ближе к ее концу) получила небольшую двухкомнатную квартиру на 1-й Красноармейской, с которой у меня связаны теплые воспоминания. Мы приехали в Ленинград в ту комнату на Крестовском в самом начале января 1946 года. Давид с семьей тогда уже жил на Красноармейской.

Так, письмо, о котором речь, было адресовано туда, на Басков пер. Конечно, мама помогала Ане по хозяйству, а тогда уже была Галя (1-2 года). По маминим рассказам, папа, видимо, представлял, будто мама была в услужении, в няньках. Поженились они в конце 35-го или в самом начале 1936 года, познакомившись в поезде по дороге в Сенно: мама ехала на каникулы, а папа с Борисом, как я теперь думаю, с Дальнего Востока. После свадьбы, по настоянию папы, мама ушла со второго курса института, а она была очень способная к учебе, да и не только к учебе. Папу в Сенно хорошо знали, он там работал. Раиков вообще очень уважали

(за порядочность, честность, ум), и для мамы это была «хорошая партия», правда, рановато — вашей бабушке тогда не было еще и 17 лет, тем более, что «ихес» (происхождение) в те времена уже не имел значения. Да и Школьники с Хейфецами были не из богатых. Хотя у деда Айзика, отца моей бабушки, было два дома: для себя и для Авраама-Моше — так звали моего деда с маминой стороны. У деда с бабушкой было хозяйство корова, которая мычала, недоенная, когда мы в спешке эвакуировались, бежали в конце 20-х чисел июня 1941 года. К корове я еще вернусь.

По-видимому, тетя Аня упрекала в письмах папу, что он оторвал маму от учебы, от Ленинграда с его перспективами. Это было вполне разумно. На что в указанном письме папа писал, что его жена в прислугах не будет, что он в состоянии сам обеспечить ее жизнь. И что Ленинград — это, конечно, прекрасный столичный город, но он предпочитает быть лучше «хозяином положения» в селе, чем последним даже в таком городе.

Тетя Аня сохранила в течение 10 лет (и каких — 1936 — 1946!) это письмо, оно у меня есть. Конечно, я передал копию и тете Фане. Сейчас это сделать просто — ксерокс.

Еще несколько слов о Борисе. Жениться он не успел. До войны окончил педагогический институт, по какой специальности, не знаю (со слов тети Фани — физмат). Для Феликса, сына Гиты, был строгим, но справедливым и любимым воспитателем. Гита подбрасывала его, когда ей было не очень до него, то Рае, то Борису, когда

как получалось. Впрочем, возможно, то был период, когда это было вынужденно — она была в «местах не столь отдаленных»: шел 1937 год. (Дорогая тетя Гита! Простите мне эти подробности, но это имело место. Не осуждаю, но мне представляется, что не всегда положение было безвыходным.) Когда Феликс поступил в русскую школу (до того он учился в Белоруссии), то в слове «Тимофеевка» умудрился сделать ошибок едва ли не больше, чем букв в слове, написав «темахвееука». Это лишь один, запомнившийся Феликсу пример, думаю, во всем диктанте было их достаточно. Борис взялся его обучать. Это со слов Феликса. «Будешь переписывать всего одну страницу в день из этой книги. — С этими словами дал ему толстую книгу „Земля Санникова“. (Я ее не читал.) — Но, — продолжал Борис, — за каждую ошибку добавляется еще одна страница!» Не представляю, как эти условия могли соблюдаться очень строго, но, во всяком случае, в 1944 — 45 году Феликс поступил в ЛИИЖТ (ф-т мосты и тоннели) и успешно его закончил. К слову, геодезическую практику он проходил как будто в Толмачево. Борис научил Феликса плавать, по словам которого, сам плавал, как дельфин. (Вот бы кто меня научил плавать! Да, видать, не судьба.)

Воевал Борис не за страх, а за совесть. Тетя Рая говорила, что чувствовала, была уверена, что он погибнет: не увилвал, лез в самые опасные места. Был награжден двумя орденами Красного Знамени, которыми награждали, как правило, только офицеров, а он был рядовым артиллеристом. Надо еще учесть, что это

происходило в 1941 — 42 годах, когда награждали не так обильно, как позже, в 1944 — 45 годах. Вообще-то ОП находятся не на самом переднем крае, как КП, это не пехота, артиллеристы в атаку не ходят. Теоретически шансов выжить больше, чем у ротного, каким был старший лейтенант В. Е. Раик. По словам Гиты, на 1 Мая напились и... В общем, погиб Борис со всем огневым расчетом первого мая 1943 года. Гита в 60-х годах нашла место его гибели. Там установлен обелиск с фамилиями погибших (есть фото). Пионерская дружина того села (или городка) носила (до распада Союза) имя Бориса Раика. Гита переписывалась со следопытами и активом той дружины.

В 1943 году по номеру полевой почты Савелий определил, что часть, в которой воюет Борис, находится близко от его части. Искал. Когда нашел, ему сказали, что его брат пару дней назад погиб. Несколько писем от Бориса мама успела получить в Челябинске. После гибели отца он писал, что будет нам отцом, а маме мужем. Письма не сохранились так же, как и несколько писем-открыток от папы. Вместе с документами их у мамы выгащили во время ее поездки в Щербакты (КазССР), куда были эвакуированы тетя Аня с детьми и бабушкой Буней. Мама везла письма, чтобы показать их бабушке, которая очень интересовалась такими вещами.



Письмо второе. Тетки (Раик)

Теперь о тетках. Ими Господь наградил меня сполна: шесть маминых сестер и четыре папиных. Чтобы закончить о Раиках, начну с папиных.

Старшая из них, Аня (нареченная Гинде-Хае, «г» мягкое, как произносят на Украине), родилась в 1903 году (может быть, в 1902 г.) и всю жизнь посвятила математике, точнее, истории математики (узкая специализация), в которой достигла определенных успехов: издала весьма интересную книгу и состояла в переписке с известными в их кругу математиками. Впервые мы увидели ее летом 1948 года, когда она приезжала в Ленинград. Я проводил лето на даче у другой тети Ани под Ленинградом, в Дудергофе. Был солнечный день, я пошел играть в волейбол (не помню точно, с кем, кажется, с Аллочкой) через гамак вместо сетки. Вдруг пришла шестилетняя Фрида (о ней скажу несколько слов позже). Она не могла говорить и что-то пыталась мне объяснить жестами. Я пошел сказать тете Ане, чтобы она не беспокоилась по поводу ее отсутствия, хоть это было и недалеко, но все же ее могли хватиться. Подошел и с дороги, метров с двадцати пяти — тридцати, кричу: «Тетя Аня, вот Фрида, она ушла, не потеряйте ее!» Тетя Аня сидит за столом на

скамейке, ножки которой, как и ножки стола, врыты в землю. Напротив, на такой же скамейке, какая-то женщина примерно ее возраста. Тетя Аня мне отвечает: «Подойди сюда». Я с неохотой и с мыслями: «Ну что еще?», — так как спешу вернуться к игре, подошел ближе и оказался рядом с той, другой женщиной. Та вдруг буквально накинулась на меня с объятьями и поцелуями. Это и была папина сестра Аня — маленькая, кругленькая, толстоватая. Ее привезла к Рудерам на дачу мама, вернее, они приехали за мной. Была ли с ними Фаня, не помню. Тетя Аня тогда же сказала, что я не просто очень похож на отца, но точная его копия, и не только лицом, но всем — движениями, жестами. Какая-то мистика, она воспринимает меня, как папу, когда ему было тоже десять лет.

Позднее я в любом возрасте был вроде его двойника, только светлый, а он был брюнет и, естественно, смуглый. Я был доволен, что можно уехать в Ленинград. На даче мне было тоскливо и скучно. Кроме Гали, общаться было не с кем, а она часто была занята помощью тете Ане по хозяйству. Кажется, иногда появлялась ее племянница Аллочка, вроде они снимали дачу по соседству. Но это было редко. Сейчас я понимаю, что мама хотела меня куда-нибудь пристроить на лето, двоих «подбросить» Ане она не решалась, и Фаня оставалась в городе. И Аня, и Галя старались меня удержать на даче подольше. Мы даже с Галей как-то поспорили на 10 стаканчиков мороженого, досижу ли я в Дудергофе до 20 августа. Гале, я думаю, тоже было

менее скучно, когда я оставался там. Тетя Аня Раик тогда приезжала поработать в Публичной библиотеке. Мама тогда содействовала заказу в ателье костюма тете Ане. В Молотове ей, видимо, было некогда, да и «мастера» не те, а Ленинград — столичный город. Она всегда строго одевалась, костюм (с юбкой), галстук, как у мужчины, или бант. Брючные костюмы, как сейчас, тогда женщины еще не носили. В тот ее приезд тетя Аня хотела мне подарить фотоаппарат, но мы с мамой как-то намекнули, что костюмчик был бы предпочтительнее. Подаренный ею светло-серый костюм, как у взрослого мужчины, мне очень нравился и очень мне шел.

Потом я с Фаней приезжал к ним с Раей в город Молотов (лето 1952 года), позднее, в 1955-м и 1958-м годах — в Саранск, где в 58-м году уже поселились Шафировские, а примерно в 59-м — 60-м и тетя Рая. Особой душевной близости с тетей Аней не было, она всегда была занята своей работой, да и не в последнюю очередь причина была в моей стеснительности, даже робости. Следующие встречи были уже после окончания мною института, в 1968 году, на свадьбе у Ирмы (стараюсь восстановить в памяти еще одну случайную, когда был проездом в Москве, но, кажется, это было значительно позже, возможно, в 1966 году, когда я, работая уже во ВНИМИ, ехал в командировку в Донецк, а она приезжала для работы в библиотеке им. Ленина), потом, примерно в 70-м, когда я устроил себе командировку в Саранск на завод светотехники (была морозная зима, я чуть не отморозил себе уши, идя на завод).

Позднее мы с мамой (вашей, а не моей) как-то в конце лета, тоже 70-го года, были у них с Раей. Конечно, встречались тогда и с Шафировскими, и с Аксельродами. (Лиза тогда уже имела двух девочек. О них, если будет необходимо, позже.) С мамой мне было проще: ходили на рынок, и я как-то не ощущал себя, хоть и приятной, но все же нагрузкой для уже немолодых теток.

Последний раз видел ее в 1989. Мы с мамой приехали зимой, так как тетя Аня заболела, и нам сообщили, что это, видимо, конец. Там произошло что-то непонятное: ей сделали укол, и она впала в беспамятство. Помню, сучила ручками. Вскоре умерла. Университет устроил торжественные похороны. Приезжал и Феликс, обратно ехали одним поездом. Рая умерла года на два раньше, но мы на похороны не приезжали, боясь трудностей с обратными билетами.

Может быть, в дальнейших заметках я буду возвращаться к отдельным эпизодам встреч с тетками, когда это придется к слову.

О тете Ане, которая никогда не была замужем, Рая как-то сказала: «Думаешь, она не могла выйти замуж? Считалось честью стоять рядом с Аней!» Но та считала, что совместить науку с семейной жизнью не сможет.

Следующая по порядку была тетя Рая (год рождения 1905). Как я теперь понимаю, она была ближе к папе, чем другие сестры, даже Хася, которая по годам меньше отстояла от папы, но была младше, а Рая пятью годами старше. Во время папиного отрочества Ани в Лукомле уже не было, а Рая была не только сестрой, но и стар-

шим другом. С ней мы познакомились на следующий год после приезда Ани, то есть в 49-м. Рая уже не спрашивала, что подарить, а тоже купила мне костюм из темно-синего шевиота, на вырост. Его я носил дольше (естественно), того серенького, но тот мне нравился больше. Рая, как и Аня, в свой приезд собирала всех, кого можно было из родственников, вместе — тогда, в 49-м, у Гриши Ботвинника.

От той встречи остались фотографии, сделанные Гришей, хотя не такие хорошие, как та с тетей Аней. С Раей я был как-то ближе: она много рассказывала об отце, о своем Сашке, как она его называла, и не только. Хотя сейчас полагаю, что далеко не все, а мы не очень расспрашивали — так, когда приходилось к слову. О многом она умалчивала — время было суровое, опасалась нам навредить: меньше знаешь — спишь спокойнее*. Но своего отношения к «отцу народов» не скрывала. И в том, что вся система порочна, думаю, она не была уверена. Всю жизнь боготворила Аню и считала, что ей самой не повезло из-за отсутствия образования. Конечно, она могла бы достичь многого, была очень способной и хорошим оратором, как, впрочем, и Гита, — пламенные комсомолки. Раю в 37-м исключили из партии. (Сашку арестовали и расстреляли. В 1946-м ей, на ее многочисленные запросы, сообщили, будто он умер в 43-м. В 56-м дали справку о полной реабилитации.) Восстанавливаться в партии принципиально не стала. Гита же после краткой отсидки в 1937 г. восстановилась, все еще питала некие иллюзии. Помню, как-то Рая

рассказывала, что еще в конце 20-х какая-то простая женщина, работница на фабрике, где работала и Рая, но старше ее, после ее очередного зажигательного выступления на собрании говорила ей на идиш: «Раиньке, вос кохт зих (кохтцех) ду? Эс горнит зайн ба айх!» Даю перевод: «Раинька, что ты кипятишься, ничего у вас не получится!»

Иногда она вспоминала отдельные эпизоды, связанные с отцом, которые приходили ей на память по каким-либо ассоциациям. Так, например, говорила, что должна была его встретить, приехавшего на поезде. Где-то замешкалась или поезд пришел раньше, но она спешит в здание вокзала, краем глаза видит стоящего у дверного косяка мужчину в таком же отдающим фиолетовым цветом (за цвет не ручаюсь, но у меня в памяти сохранилось именно так) полупальто и кепке, «как у Нёмки». Я представляю его таким, как на той фотографии, которую мы поместили на маминой могиле. Рая проходит мимо, а этот мужчина ее окликает, останавливает. Это был он. Жалею, что не смог проводить ее в последний путь.

Чаще, чем с другими, мы виделись с Гитой. Первый раз тогда, в 1952-м, в Молотове. Она жила в пригороде — в поселке Добрянка. Мы тогда не знали, что она живет поблизости. Она приехала утром, мы спали. Проснувшись, я слышал, как она упрекала Аню с Раей: «Дети уже здесь, а я еще не знаю об этом!» Фаня тогда поехала с ней и Ирмой в Добрянку, а мне так не хотелось ехать, была какая-то тоска в груди, и я очень обрадовался,

когда тетки сказали, что, если не хочу, могу и не ехать.

Как я уже писал, Гита была активной комсомолкой, а затем партийной, хорошим оратором, перед войной работала журналисткой в Минске. В 1937-м была исключена из КИЖ (Коммунистический институт журналистики). Еще до 37-го года успела развестись с отцом Феликса Гришей Брауде, которого очень любили все Раики. Он был (по рассказам Раи) мягким, «непробивным», а Гита стремилась вверх. Ее гражданский муж, какой-то видный партийный начальник, был арестован в 37-м и расстрелян. Попала туда и она. Но ей повезло: «вождь» решил, что временно репрессии следует приостановить и расправиться с исполнителями тех репрессий, свалив на них вину за творившееся беззаконие. Пошла небольшая и короткая волна освобождений, в которую и попала Гита. Но веру в идеалы она не утратила. После войны Гита вернулась в Минск, где ее и разыскал через газету, в которой она работала до войны, Иосиф. Тогда она написала ему в Штаты о гибели родителей и братьев. Поэтому получилось, что и Ирма (46), и Джерри (47) названы в память о нашем деде. Когда родился Говард, Иосиф еще не знал о судьбе родителей. Эпопея Гиты с «органами» имела продолжение. Когда после войны возобновились репрессии, особенно усилившиеся по отношению к евреям в период борьбы с космополитами, примерно в 48-м году, Гита в Минске случайно из окна дома, в котором жила, увидела своего следователя по «делу» 37-го года. Он что-то выискивал, выслеживал. Это я знаю с ее слов. Она сразу схватила

Ирму и уехала на Урал. Это, по всей вероятности, и помогло ей избежать повторного ареста, что было в те годы обычным делом.

В 50-х годах она перебралась ближе к сыну, который после окончания ЛИИЖТ попал в армию и служил старшим лейтенантом в какой-то строительной части под Ленинградом, в Петергофе. Она устроилась в ту часть на работу и получила комнату. Позже ей удалось перебраться в Ленинград, на Таврическую улицу, где у них с Ирмой была приличная комната в коммуналке. Потом, когда дом, кажется, пошел на капитальный ремонт, им (их было уже трое с Олегом) дали две комнаты в трехкомнатной квартире в Ковенском переулке. Гита была человеком сложным, противоречивым, но, как все Раики, исключительно честной и порядочной. Нельзя сказать, что она была эгоисткой, но как-то получалось, что больше брала, чем отдавала. Я имею в виду материальную сторону. Она, разумеется, не считала, что ей обязаны, но, поскольку у Ани есть возможность, она должна помогать, пока Гита в стесненных материальных обстоятельствах. Она полагала, что если бы она имела возможность, то она помогала бы обязательно.

Гита не чуралась никакой черной работы: мыла лестницы, когда жила в Петродворце, чтобы Ирма училась игре на пианино. Пианино «обязана» была и обеспечила Аня. Как же иначе? У ребенка способности, они не должны пропадать. Фаня была не менее способна к музыке и очень хотела учиться, но наша мама никогда и не заикалась перед тетками о необходимости инструмента,

чтобы «сохранить талант». Не хочу осуждать Гиту: все верно, близкие должны помогать по мере возможности, но все это должно зиждиться, как сейчас бы сказали, на взаимной основе. Но у Гиты так складывались обстоятельства, процесс был односторонним.

Одно время, после свадьбы Ирмы, я в знак протеста практически не навещал Гиту, так как она на этой свадьбе допустила, не знаю, как сказать, глупость или бестактность: не пригласила на торжество нашу маму. Мы с Фаней не знали об этом и пошли. Но обиду за маму я сохранил надолго. Еще ранее, на так называемом «столетнем юбилее» (Гита и Феликс родились в один день с разницей в 20 лет, таким образом, в 1967 году им вместе было $60 + 40 = 100$ лет) я не испытывал ни какой-либо радости, ни удовольствия. Мне всегда не нравилась жена Феликса Майя, даже до того, как я узнал, что и она, и ее родители (видел их один раз) антисемиты. Ее присутствие для меня всегда было тягостным.

Конец 80-х и до своего конца Гита много страдала физически. Этому вы, дорогие, были уже свидетелями. Упала, перелом шейки бедра (здесь, в Германии, это сейчас рутинная операция), до конца жизни была прикована к постели. Когда Джерри прислал инвалидную коляску, она уже не могла ею пользоваться. Последние годы ее омрачены конфликтом с Ирмой. Гита до последних дней командовала и Ирмой, и внуком Олегом, а ведь Ирме было уже за сорок. Незадолго до смерти (1993) пыталась вполне сознательно покончить с собой.

Гита больше других теток понимала нас с Фаней, а может, просто потому, что, чаще встречаясь, лучше, чем они, знала нас. Она считала нас особенными. Незадолго до нашего отъезда в Германию она как-то поделилась сокровенным, тем, что тяжким грузом давило ее долгие годы (лет 50). Она покалась в совершенном, как ей думалось, проступке. Она считала, что наговорила лишнее на допросах в 37-м. Она полагала, что ее показания как-то повлияли на судьбу ее гражданского мужа. Она переживала, что усомнилась в нем, в его честности коммуниста. Открываясь нам, видела в нас чуть ли не судей и ждала нашего понимания, оправдания и утешения. Я тогда не все детали понял, но не стал расспрашивать о подробностях, не хотел бередить и без того мучавшую ее рану. Конечно, ее слова на следствии имели какое-то значение, но только для нее, ведь тогда расстреливали невинных и без оговоров. Она всегда была искренней и правдивой, полагаю, и в тех своих показаниях тоже.

После смерти Сталина хотела написать и разыскать Иосифа, но ее удерживала Аня, для которой ее работа была важнее всего, а она уже была «контужена» увольнением из университета в Молотове в 1953 году. Гита не хотела ее подводить.

Не знаю, дорогие мои, надо ли вам знать обо всем этом.

Младшая, Хася, была мягче других, ею командовали старшие, конечно, не злоупотребляя. Для них она всегда была младшей, а не равной, не как Борис. Сейчас, записывая все это, нахожу, что эти ее черты — мягкость,

безответность на замечания и выпады старших, — скорее всего, унаследовал я не только от мамы, но и от нее. Это то во мне, что вашей маме представляется как неумение постоять за себя, за нее. Мое возражение, несогласие в таких случаях выражается не речами, а уходом — в прямом смысле, то есть буквально, — от несправедливых обид.

О Хасе, возможно, напишу дополнительно.



Письмо третье. Тетки (Школьники)

Теперь о Школьниках. Я рос в семье мамы, то есть Школьников. В детстве меня окружали мамины сестры, Гриша и их семьи.

Мой дед, Авроом-Мойше (Авремоше), по паспорту Абрам Шлёмович, был «настоящим» евреем: соблюдал, как положено, заповеди, субботу, кошер. Всю войну и после не ел мяса, что меня тогда очень удивляло, я восторгался его выдержкой, ведь было голодно. Мне казалось, что это очень трудное ограничение. Не знал о вегетарианстве. Запечатлелся он в моей памяти в засаленной кепке и в двух позах: он стоит, обратив лицо на юго-восток, в накинута на голову и плечи давно не стиранном талесе. На левой руке и на лбу тфилен-филактерии (тогда я не знал, как называются эти коробочки по-русски). И сидящим за столом с одной из двух толстых книг в твердом черном переплете (одна из книг называлась «шидер»). Тогда я не знал, что другая — это Танах. Про шидер знал, что это молитвенник.

Дед был замкнутым (может потому, что ему не о чем было с нами разговаривать?), не проявлял ласки. С детьми был суров. Уважал только Аню. К Грише относился с любовью: единственный сын и вообще мужчина. Правда, эту любовь к нему внешне особенно не

проявлял, просто чувствовалось, что относится не так, как к дочерям. Кроме идиш и лошен кейдеш, что вполне естественно, знал русский и белорусский языки. Со слов Гриши, был единственным во всей округе, кто мог латиницей написать адрес на конверте, направляемом в Штаты. Как узнал из расспросов дяди Гриши уже в XXI веке, до войны дед работал в обувном магазине и керосиновой лавке. Керосин был дефицитом. Дед давал керосин зав. булочной, а тот деду буханку черного хлеба и батон. Это было в 31-м году.

В 32-м и 33-м годах получали от Хаи посылки из Ленинграда с четырьмя буханками хлеба. (Как они не черствели?!). По совместительству он был музыкантом: играл на скрипке, имел учеников (в том числе Гришу). После войны он уже не играл — не было инструмента. Старая скрипка с негодным, без волос, смычком появилась в декабре 1947 года. Смычок так и не наладили — было не до того, а в сентябре 1948 года дед умер.

Отчетливо помню, как он приходил в Челябинске за нами в детский сад. Отводила туда нас, как правило, мама. Он шел впереди, мы за ним, никогда не держал нас за руки, хотя нам предстояло переходить железную дорогу. Иногда осенью (а может, весной) он останавливался, смотрел вперед, оценивая обстановку: было грязно, кругом лужи, он намечал, выбирал приемлемый путь. Это я теперь понимаю, тогда не задумывался. Суровость его была подчас внешняя: громко, почти кричал, на идиш маме, приносившей свиную тушенку:

«Ин майн штуб хазер зол нит зайн!» — что в переводе означает: «Чтоб в моем доме свинины не было!» Однако делал вид, что не замечает, когда мама кормит нас этой «трефнятиной». Когда мама в Челябинске не сразу устроилась на работу (она ждала — должна была открыться столовая, где она рассчитывала устроиться, чтобы было не так голодно ей и детям), он понукал: «Надо ийти работать!» («Ман муз гейн арбайтн!») Хотя понимал, что мама не бездельница. Она целыми днями носилась по городу, отоваривая имеющиеся карточки и Басины какие-то талоны: Павлуша был офицером, и у Баси был аттестат. Мы же об отце ничего не знали до 1943 года.

Очень верил вождю и официальной пропаганде — не понимал, как это можно — публично нагло врать. До борьбы с «космополитами», к счастью, не дожил. Ходил к телеграфному столбу с «тарелкой», недалеко от дома, слушать радио. Потом у нас появилась радиоточка, но к столбу ходил по-прежнему. Религию нам не навязывал, хотя охотно учил молитве (без перевода): «Борух, Ато, Аденой Элогейну, Мелех, Хелейну». Сейчас я молюсь почти так же. Не делал трагедии из того, что дети атеисты.

Хорошо помню, что в Челябинске на вопрос «Где Бог?», которого мы представляли (в 6 — 7 лет) всемогущим волшебником, который в принципе все может, сказал: «Вот здесь», и правой рукой сделал движение слева вверх направо и вперед. А в это время в той стороне, куда он указал, алел закат, и я решил, что Все-

вышний в этом зареве или что зарево и есть Бог. Слова «везде» я не помню.

Очень смутно помню деда во время эвакуации в эшелоне. Он никуда не отлучался, был постоянно с нами, а мама выходила на остановках, чтобы что-нибудь достать поесть. Чувства голода не помню, но помню, как мама на просьбу поесть ответила: «Попроси у бабушки корочку хлеба».

Как и в Челябинске, на Крестовском дед тоже слушал радио и непрестанно молился. Эпизод школьный. Иду регистрироваться: перешел во второй класс, а мой класс перевели в школу № 59, и меня посылают туда. Не знаю, что делать. Иду домой. Дед идет в школу, и меня возвращают в школу № 60, в которой я учился до 1955 года и закончил ее, сдав экзамены на золотую медаль, но не получив никакой. Ну и об этом тоже позже.

Еще эпизод. На обрезании Зорика меня почему-то не было, но на обрезание сына племянницы Давида Раи я попал. Прихожу из школы, деда уже нет, он меня не дождался. Я огорчился, но тут за мной приехали и повезли на Васильевский: придавали большое значение событию, и мальчик должен присутствовать. Помню большую черную бороду раввина («а ров») и седую, тоже длинную, брата Давида Еила, отца той самой Раи (у нее была еще сестра Вера и брат Яша), маленького (8 дней) виновника торжества, названного Лене́й. Сидел я за столом, спиной к окну, напротив дверей, за которыми все происходило.

Последнее воспоминание о деде. Я у Ильи, играем в комнате ребят, кажется, в мяч. Вдруг резко что-то оборвалось у меня внутри, тоска непередаваемая. Видимо, я переменялся в лице, так как Илья спросил меня: «Что случилось?» Я говорю: «Пойду домой». На лестнице встречаю Хану. Идем вместе, на 2-м этаже выскакивает из 21-й квартиры Моисей Дубровкин (сосед, отец моего друга Герки) и зазывает Хану к ним. Я иду дальше и, войдя, узнаю, что дед умер. Помню, как евреи несли его тело вниз по лестнице.

Бабушку помню только с момента нашего приезда в Ленинград — 3 января 1946 года. Хотя, когда приехали в Челябинск, помнил, ибо, увидев тетю Эмму, принял ее за бабушку. Она была очень доброй, выглядела очень старой, а в 46-м ей было всего (с теперешней не только моей позиции) 65. Гриша говорит, что она умерла шестидесяти семи лет, а было это в 1951 году. В то же время сообщает ее год рождения — 1881-й, то есть нестыковка. Очень любила всех внуков, но особенно, и это естественно, Фриду. Носила ее на руках до пяти лет, пока та не стала ходить самостоятельно. Была какая-то забитая, как я сейчас понимаю, казалась нам несовременной. Плохо говорила по-русски, но от нее я впервые услышал слово «религия». Ее забитость проявлялась и в отношении к вере и религии: она больше боялась деда, чем Бога. Характерный пример. У деда была своя «кошерная» ложка, отличавшаяся по виду. У бабушки такой ложки не было, она пользовалась, как все в семье, оловянной, но отмеченной черной ниткой,

перехватившей черенок ложки. Нитка часто пропадала, и бабушка тайком от деда привязывала другую нитку на первую попавшуюся ложку. Впечатление о забитости и несовременности бабушки происходило оттого, что ее сестры верховодили мужьями в своих семьях (Эмма — Гришей, Мера — Цалой). Муж Эммы, Гриша Дынчик был очень молчалив, за все мои годы в Челябинске мы с ним не обмолвились и словом. Бабушкиным сестрам попались такие мужья, подкаблучники, а бабушке, как сейчас говорят, лидер. Не знаю, как Эмма, но Мера, по словам мамы, была достаточно образованной, и мама с ней при каждой встрече подолгу беседовала (в Воронеже в 41-м году, в Москве на Новый, 1946, год).

Из конкретных воспоминаний о бабушке память сохранила еще несколько эпизодов.

Зима 1946 года, мы только что приехали из Челябинска. После гуляний во дворе (о первой прогулке во дворе позже) нам решили, видимо, показать окрестности. Идем с бабушкой в ЦПКиО. Мы еще плохо ориентируемся в парке, который вскоре и надолго стал нашим любимым местом. Хорошая зима, снежно, в меру морозно. Просто гуляем по расчищенным от снега дорожкам парка, погода прекрасная, светло, безветренно. Вдруг нам навстречу идет лилипут. Странно: мы, дети, больше его. Выражение личика взрослое. Меня охватило какое-то странное чувство, стало как-то не по себе, почти испуг. Но тогда почувствовали (я, во всяком случае), что с нами бабушка — взрослый человек. Во что она одета, не помню, только лицо и походка такая старческая...

Нас она очень любила, постоянно звала: «Марке, иди кушать!» («Марке, гей эсн!») Тогда еще не очень стеснялись, и порой в трамвае, в этой давке, из конца в конец вагона слышна была речь на идиш. Мы были глупы и по-детски жестоки, пренебрегая ею. Она не только из окна звала меня есть, но и ходила, искала меня во дворе и в округе. Помню, как лежим мы на полянке за домом около места, где играем в футбол и где я потом оставил курточку от серенького костюмчика, в котором я на фотографии 1948 года с тетей Аней. Ворота обозначались камнями или одеждой. Было жарко играть, и я снял курточку, положил ее рядом с кирпичом, означавшим «штангу» (стойку) ворот. Поиграв, разошлись, а курточка осталась. Когда спохватился, ее уже там не было. Мама меня не ругала, но я и без того очень переживал и долго сожалел. Так вот, лежим, бабушка подходит звать меня обедать, с подозрением смотрит, как Борька — сосед, живущий в полуподвале нашего дома, — засовывает в карманы штанов где-то раздобытые зеленые, неспелые яблоки. У меня тоже одно. Бабушка вполне обоснованно подозревает, что мы их стащили.

Примерно в 1950 году бабушка заболела: лимфо-грануло-ломатоз, что-то с лимфатической системой. Помню, посещал ее в больнице, конечно, по подсказке взрослых. Накидывал на себя белый халат, о чем говорить, не знал. Мое посещение (кажется, не единственное) доставляло ей большую радость. Врачи, лукавя, успокаивали ее: «Еще погуляете на свадьбе внука». Не дожила десяти лет, вместивших в себя ох как много событий.

О маминых сестрах, моих тетках. Старшая Даша (1903), которую вы совсем не знали, хотя Веня, возможно, ее и видел в годовалом возрасте. Тихая, скромная, я бы даже сказал, незаметная, интеллигентная, старавшаяся никому не причинять неудобств. Это она беспокоилась о судьбе «некрасивой» Рахильки, о чем уже писал. Мы впервые увидели ее в 1946 году, приехав из Челябинска в Ленинград, где она прожила всю блокаду. Она нередко приходила к нам на Крестовский. По образованию была фармацевтом, работала в аптеке, жила очень скромно. Даша интересовалась искусством. В блокаду посещала единственный оставшийся в городе музыкальный театр — ленинградскую музкомедию. Премьером там был Михайлов, женатый на приме театра Колесниковой. В этого артиста она была тайно влюблена. Кажется, его звали Евгений. Иногда мы приходили к ней на Полтавскую у Староневского (это бывало довольно редко, чаще она приходила к нам, ведь с нами жили ее родители), где она показывала нам фотографии-открытки популярных в то время артистов. Она посещала и филармонию, помню, что она была на концерте польской певицы Евы Бандровской-Туркской (фамилию написал по слуху, возможна и другая транскрипция). У нее спрашивали, видимо, дед: «Ну, как?» Она, сцепив руки перед грудью, отвечала: «Вот так».

С Дашей нам, детям, было легко, она не требовала, чтобы ею занимались, она довольствовалась тем вниманием, которое мы ей уделяли. В памяти сохранился эпизод, когда как-то зимой встретил Дашу на лыжах

на Втором Елагином мосту: она приходила в парк для укрепления здоровья. Было это, вероятно, году в 60-м. Видимо, уже сказывался недуг, сведший ее вскоре в могилу. Умерла она неожиданно, во всяком случае, для меня. В память о ней долго носил зимнее пальто, сшитое на доставшиеся мне после ее смерти деньги. Сто рублей (моя месячная зарплата) принес через полгода Гриша. Мне было как-то неловко: так скромно жила, а я вот пользуюсь.

Следующей была Аня (Хая, 1905). Впервые увиделись и познакомились мы с ней зимой 1946 года, наверное, в январе, когда первый раз нас на 1-ю Красноармейскую привел Гриша. Мама тогда вынуждена была жить у Ани, так как были проблемы с пропиской. У мамы была сломана рука — поскользнулась в бане. Как ехали на Красноармейскую, не помню, но транспорт работал плохо, и мы довольно долго шли пешком. Мы не очень устали, однако идти нам надоело, и мы время от времени спрашивали Гришу: «Ну, скоро?» — на что он отвечал, показывая на видневшийся впереди светофор: «Вон, видите тот красный огонек? До того места». Когда мы подходили к тому светофору, он уже был зеленым, и мы шли дальше — до следующего красного. Тогда впервые познакомились и с Давидом, и с Галей.

Аня осталась в моей памяти такой, какой запечатлена на фотографии с грудным Зориком. Во всяком случае, существенных изменений в ее внешности за последующие 17 лет я не заметил. Полноватая, интересная, но мы тогда этого не понимали, как и многого куда более

существенного. Наше отношение к ней не всегда было одинаковым и со временем менялось. Сначала мы не пылали к ней особой (хотя вполне заслуженной ею) любовью, нам передавалось отношение к ней бабушки и некоторых ее сестер (Златы, Ханы), которые, я думаю, завидовали, что у нее все так хорошо в жизни сложилось. Насколько хорошо — это другой вопрос, понимание которого к нам пришло много позже. Бабушка же, конечно, переживала за менее удачных дочек, которые полагали, что Аня всем (а им особенно) что-то должна и все время чего-то недодает. Давид же всегда всем хотел помочь и делал для этого все, что от него зависело. На самом деле Аня была мужественной, доброй, хотя внешне порой и строгой (или суровой, не знаю, какое слово больше подходит), тащила на себе этот воз забот обо всех и обо всем, взваленный на нее Всевышним. Она была лидером, «старшим по рождению», хотя старшей была Даша. Аня была главой клана и достойно несла этот груз, мало думая о себе. Это мы, уже повзрослев и рано потеряв ее, поняли. Очень жаль, что она так рано ушла, и мы не успели при ее жизни не только отдать ей должное уважение и любовь, но даже поговорить по душам. Все же, инстинктивно чувствуя ее роль, я прежде всего побежал к ней после первого экзамена в ЛИТМО (еще не зная о том, что не поступлю). И первый визит с вашей мамой к моим родственникам был к Ане. Что я запомнил и позже оценил из ее отношения к нам, Рахилькиным детям? Самое первое — это подарки: мне вельветовый ко-

стюмчик с короткими, на лямках, штанишками, а Фане коричневое форменное платье — подарки существенные и не из дешевых. Хорошее время было, когда они сняли дачу на Крестовском в корпусах на первом этаже. Сопоставляя все в памяти, думаю, что это был 1947 год. Мы, живя рядом, часто забежали к ним, она нас угощала ягодами. (В 1948 году, тоже в корпусах, кажется в шестом, дачу для четырехмесячной Ани снимали Гриша с Эллой. Рудеры снимали, по-моему, в первом или во втором.) Потом была дача в Дудергофе (кажется, не один год). Не знаю, договаривалась ли мама с Аней предварительно, но мама отправляла меня в Дудергоф, будто так и надо. Не думаю, что мама, как и Злата с Ханой, считала Аню обязанной держать меня на даче. Помню, как в десятилетнем возрасте самостоятельно добирался сначала на трамвае, с пересадкой до Балтийского вокзала, затем электричкой до Дудергофа. Боялся проехать нужную остановку. Помню посещение Дудергофа Гришей. Мы с ним спали в одной кровати, и я, проснувшись утром, обнаружил, что он уехал, не разбудив меня и не попрощавшись. Очень огорчился. Фаня оставалась в городе, видимо, мама считала слишком большой нагрузкой взваливать на Аню двоих. Хотя, как я сейчас понимаю, для Ани один или два лишних рта большого значения не имели. Давид приезжал, помнится, раз в неделю на воскресенье. Я тогда не понимал, что Аня старалась облегчить груз, который тащила наша мама. Она всячески задерживала меня в Дудергофе, в этом ей старалась помочь (не знаю, сознательно ли)

Галя, которая даже поспорила со мной, досижу ли я на даче до 20 августа. В то лето (1948) я недосидел, приехала тетя Аня Раик, и мама забрала меня. Тем же (стремлением Ани задержать меня) запомнилась дача в Дибунах. Там почему-то было еще скучней, и я рвался домой. Помню, стоял перед Аней (все же без ее согласия не мог убежать, да и не помню, как обстояло дело с деньгами на электричку), связав и держа по походному сандалию на палке через плечо. Аня же меня уговаривала остаться хоть ненадолго. Не помню, чем все кончилось. Еще одно характерное воспоминание. Не помню, было ли это на даче на Крестовском или в Дибунах. Я, потный, набегавшись, за чем-то заскочил в дом. Аня хочет, чтобы я остыл: «Посиди! Смотри, ты весь потный!» Дает мне грушу, такую вкусную, которая тает во рту. Потом я долго таких не ел.

Ее положение старейшины рода, клана отчетливо проявлялось в том, что всегда на праздники собиралась у нее вся семья и много знакомых, в основном земляков. О том времени сохранились самые светлые воспоминания. Когда мы немного подросли, лет эдак с пятнадцати, и у нас появились другие интересы, мы вроде реже собирались у Ани на праздники — хотелось собираться своей молодежной компанией. Но накрытый стол у Ани в доме в любое время дня и ночи продолжал сохраняться до самой ее смерти в 1963 году.

До сих пор не могу себе простить, что по дремучей глупости не пошел проводить ее в последний путь.

Я «дулся» на нее за то, что она не скрывала своего

недовольства по поводу моей женитьбы. Зря. Проявил несогласие с ее взглядами. Конечно, она против Розы ничего не имела, недовольство было абстрактным: почему не еврейка? В семью спокойно принимали конкретных русских: Диму, мужа двоюродной сестры Давида Фани, Павла Матвеевича, мужа Баси, как и в дальнейшем вашу маму. И уважали и любили все тетки вашу маму очень.

Следующей по старшинству была Мера (1907). Она была исключительно порядочным человеком. Прожила долгую, но очень несчастливую жизнь. До войны не успела выйти замуж. По образованию фельдшер, прошла достойно с армией две войны: Отечественную и Японскую. С войны у нее осталась привычка кастрюли называть котлами, а от специальности — пятидневка: мыться в бане полагалось каждую пятидневку. Все тепло души отдавала племянникам, особенно любила и жалела Милю. Вернулась с войн (Отечественная и Японская) старшим лейтенантом с наградами. Я все удивлялся: Гриша, мужчина, и только младший лейтенант, а Мера — старший. Ходила, облачась в гимнастерку, с нами гулять в ЦПКиО, покупала нам пирожки с повидлом, мороженое. О войне почти ничего не рассказывала. По отрывочным рассказам знаю, что передвигались они на грузовиках, у нее был свой медицинский грузовик. Еще рассказывала, будто в Японии или Китае женщинам ноги с детства помещали в колодки, чтобы сохранить маленькую ножку. Мы ее недостаточно ценили и уважали, были по-отрочески жестоки. Понимание ее

достоинств пришло позже, когда она уже не могла это увидеть и оценить. Долго не имела своего угла: жила со Златой и Милей в одной комнате, но чаще бывала на Крестовском и у Ани на Красноармейской, где помогала по хозяйству и возилась с Зориком. Со Златой жили очень недружно (мягко говоря), пока их дом на улице Мира не пошел на реконструкцию и они не разъехались. Вскоре Мера заболела и уже не могла наслаждаться своим отдельным углом. Попала в лечебницу для душевнобольных, откуда наша мама (ваша бабушка) в 1969 году летом взяла ее на время, но сама заболела. Тетя Тамара устроила ее в «Бехтеревку», но пытаться радикально ее лечить (электрошоком) родственники (Хана) не решились. Закончила Мера жизненный путь в середине 80-х годов. Урну с ее прахом мы с Вовкой (Двининым) подхоронили в могилу Даши.

Более веселую жизнь прожила Бася (1910). Познакомились мы с ней еще в Челябинске, когда она с пятилетним Вовкой (мы почему-то его именно так называли и только много позднее перешли на Володю. Он называл меня Марькой, а последние десятилетия — Маринькой) проживали в темной комнатухе квартиры Эммы. Бася была, как и наша мама, оптимисткой, хотя, живя на Ковенском, где мы с Фаней довольно часто бывали, постоянно, но без злобы, ругала своих начальниц, обращаясь к Павлу Матвеевичу: «Двинин, эти твои антисемитки...» Она работала участковым врачом в детской поликлинике и была хорошим диагностом. С ней было легко, она никогда не унывала, правда, и для уныния у

нее было гораздо меньше оснований, чем у нашей мамы. У меня в памяти запечатлелось, как в Челябинске, когда мы еще жили у Эммы, она приходила (точнее, появлялась) в беличьей шубе, и становилось вокруг как-то светлее, грусть-печаль сразу куда-то исчезали, легче, радостнее становилось и на душе. То же повторялось и на улице Колющенко, где она появлялась, правда, значительно реже. Мы с Фаней часто бывали у них, когда они переселились, получив нормальное жилье. Засиживались дотемна. В комнате было светло и мне очень не хотелось возвращаться в нашу землянку. Бася потом, уже в Ленинграде, часто вспоминала, как она прогоняла меня домой, а я не хотел уходить. Она не понимала, что мне не хотелось покидать светлое и уютное их жилье и идти не столько в наше жилище, сколько на улицу в темноту. В Челябинске Бася входила в заводскую элиту, иногда пользовалась экипажем — открытой пролеткой (кабриолетом — тогда я еще не знал этого названия), запряженной вороным конем. В этой пролетке ездили директор и главный инженер завода. Кажется, еще и главный бухгалтер. Помню, как летним солнечным утром дед ведет, вернее, сопровождает нас с Фаней в детский сад. Вдруг нас обгоняет эта пролетка, а в ней, к моему удивлению, сидит... Бася. Экипаж останавливается, и Бася зовет меня поехать с ней, она направлялась с проверкой в летний лагерь. Почему мы сами еще не были в этом лагере, не помню, видимо, дожидались своей смены. Дед, естественно, не возражает, и я еду. К моей большой радости, оказываюсь в привилегированном

положении: могу не спать в тихий час. Помню еще, как-то меня Бася взяла прокатиться на «джипе». Зима или поздняя осень, слякоть. Она ехала по вызову к больному куда-то в пригород. Долго не могли добраться до места, поехали в объезд. Запомнился в Челябинске и День Победы. Она посадила нас троих (с Вовкой) в машину «скорой помощи», и мы поехали смотреть праздничную демонстрацию. Но просидели все время в машине и ничего не видели. А вечером любовались салютом, который был виден прямо с нашей улицы.

В Ленинград они с Вовкой уехали раньше нас. (Сейчас я понимаю, что ненамного, ведь мы приехали в Ленинград 3 января 1946 года, то есть всего месяцев через семь после победы. Дед уехал тоже до нас.) На Ковенском они с Павлушей (так все Школьники звали ее мужа — Двинина Павла Матвеевича) жили до 1954 года, потом переехали в прекрасную двухкомнатную квартиру на ул. Решетникова. Нас с Вовкой, кроме возраста (он с 1937 года), связывала и жизнь в Челябинске, он ходил в тот же детский сад, что и мы.

Бася была умной, веселой и в высшей степени эгоистичной. Притом как-то весело, не стесняясь этого своего качества. Еще два челябинских эпизода, характеризующих Басю. Первый. Беличья шуба, делавшая Басю как бы пришедшей из другого, более светлого и благополучного мира, как потом оказалось, была добыта для нее Давидом, и не только добыта, но и оплачена. Когда ей в Челябинск сообщили, что не худо было бы и расплатиться, она заявила, что она с удовольствием

это сделала бы, «только заберите с моей шеи Рахильку с детьми и папу». При этом следует иметь в виду, что Рахилька с детьми не только не была обузой для Баси, но и от Рахильки, работавшей в столовой, в те не очень сытные годы кое-что перепадало и Басе с Вовочкой. И второй. Как-то Бася, придя к нам на Колющенко, достала из сумки головку сыра (может, и половину, точно не помню, помню, что было очень много, до того я столько сразу и не видел). Она отрезала небольшой кусок и сказала, что это для нас (детей) с папой (дед). Я подумал: «Какая Бася хорошая, дала нам от своего». Как выяснилось вскоре, это наша мама через Басю, которой было сподручнее миновать проходную завода, на территории которого находилась столовая и где работала наша мама, послала нам с дедом сыр и, конечно, сказала, чтобы Бася и себе с Вовочкой отрезала кусок.

Несколько эпизодов уже из ленинградской жизни. В конце сороковых (46-й, 47-й) было трудно не только с питанием, но и с промтоварами. Бася каким-то образом (наверное, через Павлушу) достала Фане туфельки из свиной кожи, на ремешке и с пуговкой. Какие уж были. Спасибо ей! Но взяла с мамы, как вскоре выяснилось, с приплатой. Сколько, не помню, но если учесть, что они работали с Павлушей вдвоем, а мама одна нас тянула, то это важно, особенно на фоне отношения к нам Ани.

В 1955 году мы очень хорошо закончили школу, и Бася, с большой коробкой конфет, приехала нас поздравить. К слову, у них в доме всегда водились конфеты в коробках. Мы были очень рады. Позже узнали, что

коробку с конфетами послал Давид. У него самого не было времени поздравить нас лично: он всегда много работал.

В том же году мы поступали в институт. В предыдущем, 1954-м, Вовка поступил в ЛИАП, институт очень престижный, и конкурс туда был весьма большой. Мы знали, да Бася с Вовкой и не скрывали, что он прошел по протекции: директор института учился в университете марксизма-ленинизма, где Павлуша работал деканом, и был, видимо, чем-то обязан Павлуше. Я не нуждался в протекции, мы не сомневались, что я поступаю, но мама, как позже выяснилось, просила Басю поговорить с Павлушей. На что та ответила, что у Павла Матвеевича никаких связей нет. Так получилось, что в день, когда я «завалил» на тройку экзамен по химии в ЛИТМО, к нам как раз приехал Павлуша. Узнав о моей тройке, он сразу сказал, что поговорит с директором. Но он знал директора ЛИАПа и удивился, что я поступаю в другой институт. Бася, оказывается, с ним о моем поступлении не говорила.

И последнее. На похоронах ни одной из своих сестер она не была: ей не хотелось расстраиваться. С 1970 года, после того как она не была на похоронах вашей бабушки, я с ней отношений практически не поддерживал. Посетил их только в день похорон Павла Матвеевича. Она изменившегося моего отношения «не замечала».



Письмо четвертое. Тетки (продолжение)

Продолжаю писать о тетках со стороны мамы. Хану мы знали тоже еще по Челябинску, то есть по времени почти так же, как Басю. В Челябинске она с мужем Иосифом оказалась, когда мы жили уже на ул. Колющенко. Они прибыли из Средней Азии, из города Чарджоу, с дочкой Розочкой, которой было два-три месяца. К большому несчастью, Розочка сразу чем-то заболела, и ее не смогли спасти.

Иосиф — в чине капитана и в черной морской форме поражал своими размерами. Сейчас, сопоставляя все по дудергофской фотографии, я думаю, что он был никак не выше 185 см. Но по тем временам он нам казался великаном, обуви 45-го размера тогда нельзя было достать. Он был юристом и служил в Коркино, что под Челябинском, в военном трибунале. Был он весьма неразговорчив и, по словам и мнению Ханы, очень упрям. Правда, кто из них был упрямее, не знаю: у Ханы был очень тяжелый характер, и часто они уходили на базар вместе, а возвращались разными дорогами и в разное время. Имея высшее юридическое образование, Иосиф еще «немножечко шил». В кавычки взял как цитату из известного анекдота. Летом 45-го года я некоторое время жил у них в Коркино, а чуть раньше он мне руками, без

машины, сшил галифе защитного цвета, как у офицеров. Иосиф и еще какой-то армейский офицер помогли нам с мамой сесть в вагон, когда мы уезжали из Челябинска в Ленинград. На железной дороге ужас что творилось: почти как в кинофильмах о гражданской войне. Хана с Иосифом приехали в Ленинград позже нас. Их доведенная жилплощадь оказалась занятой. Тогда это было обычным явлением, и Иосиф вернул ее через суд.

После этого поехал в Коркино завершить свои дела. Позвонил из Москвы, но до Ленинграда так и не доехал. Мы его больше не видели. Я думаю, что если бы была жива их дочь, он все же никогда бы не оставил Хану: он был исключительно порядочным, тепло относился к нам и нашей маме и вообще был очень родственным.

Хана после него никак не могла найти себе мужа, хотя временами сходилась с кем-нибудь. Помню Марка Михайловича. Хане не очень нравилось, что он много внимания уделяет своей маме (она была больная, и он сам мыл ее). Но разошлись они не только из-за этого — как я уже написал, у нее был тяжелый характер.

Когда она жила на Варшавской, мы с Женей как-то навестили ее, и он потом слегка подтрунивал, копируя ее тон: «Ой, какие гости!» Ее вы знали лучше других моих теток, так как она прожила дольше остальных и потому чаще с ней виделись.

Такова была атмосфера, и такими были члены семьи, среди которых я рос. Веру деда они не разделяли и

воспринимали как данность. И споров по этому вопросу не возникало.

О Злате мне писать сложно. Она имела среднее медицинское образование. Ее наивность я порой принимал за глупость и, как и некоторые родственники, над ней подтрунивал. В ней не чувствовалось того уровня, который нас сближал с остальными Школьниками, хотя она обладала своеобразным юмором. В детстве у нее было что-то с ногой. По рассказам, дед носил ее «на закорках» в ближайшую больницу, но, видимо, было уже поздно или подвели врачи, и она на всю жизнь осталась калекой: нога не сгибалась.



Письмо пятое. Эвакуация, Челябинск

С каких пор я помню себя? Самое раннее воспоминание: меня несет девочка лет 12 — 13 на руках по мостику через речку. Думаю, что это был ручей. Гриша, рассказывая о своем посещении Сенно в начале 70-х, говорил, что до войны это была довольно бурная речка, но тогда она уже настолько высохла, что ручьем становилась только в пору весеннего паводка. С нами идут другие дети разного возраста, среди них, наверное, и сестра, я, скорее всего, младший. Мне страшно, я боюсь воды. Видимо, с тех давних пор этот страх сыграл определенную роль в том, что я не умею плавать. Умел ли я тогда уже ходить, не знаю.

Еще из ранних воспоминаний. Мы с сестрой в огороде. (Вообще до школы мы практически всегда были вместе.) Дед Айзик протягивает нам, сначала сестре, потом мне, красный помидорчик, возможно, чуть меньше, чем такие, которые мы называем болгарскими.

Затем уже война, эвакуация. Мама идет по городу (Сенно), держа нас за руки, встречает знакомую, они разговаривают. Я, кажется, стою слева от мамы. Мне надоело, я думаю: «Ну когда они кончат?» Дальше провал... и мы на грузовой машине. Какие-то разговоры с остающимися. До меня доходит, начинаю понимать

(эта мысль носится в воздухе), что корова мычит — так как некому подоить. (Возможно, это сказала Фаня, она старше и лучше понимает то, что зачастую проходит мимо меня, как, впрочем, и в дальнейшем: многое из того, что и как я понимал, складывалось не без ее влияния, хотя и без всякого давления, навязывания своего мнения.) Теперь из маминых рассказов я знаю, что Хая Вихер, сестра бабушки, чуть ли не силой усадила деда в кузов машины: «Авремоше! Как это ты отпустишь одну Рахильку с двумя малыыми детьми? Марш в машину!» А свою дочь тринадцатилетнюю Соньку, которую мама звала поехать с нами, не отпустила. Все оставшиеся родственники погибли. В кузове я боюсь, что мне надо сесть, как сидят взрослые, на бортик. Успокаиваюсь, когда меня сажают на дно кузова. Из разговоров взрослых понимаю, что полулежащий-полусидящий у кабины — ранен в живот. То, что мычала недоенная корова, мама неоднократно упоминала в своих рассказах о нашем бегстве. В эшелоне (вагоны для скота, так называемые «телятники») помню, что, когда попросил есть, мама сказала: «Попроси у дедушки корочку хлеба». (Об этом я, кажется, уже упоминал.) Отчетливо помню эпизод в эшелоне, как мама держала меня на вытянутых руках за подколенки, а я писал в открытые двери вагона. Страх не было. Ехали вечно. Поездка длится нескончаемо долго, какие-то мужчины, сгрудившись над картой, что-то обсуждают. Ощущение тревоги, когда мама отстала от поезда, помню плохо. Было ли оно? Поезд часто останавливался, люди выходили что-нибудь купить, вы-

менять. Дед, конечно, волновался, но мы (я, во всяком случае) просто не понимали, что случилось. А мама, догоняя поезд, наступила пяткой на большой ржавый гвоздь. Как потом обошлось без заражения, одному Всесильному известно. Догнать эшелон и забраться в последний вагон маме помогли отставшие вместе с ней мужчины. В вагоне вообще, по теперешнему моему пониманию, царила атмосфера взаимопомощи, как мне теперь представляется, было какое-то единство, людей сплавивало общее горе. Но вообще-то, я думаю, на мои воспоминания и представления накладывается теперешнее понимание, весь последующий жизненный опыт.

Следующие куски воспоминаний относятся уже к Воронежу. Фаня помнит еще вокзал в Витебске. Это, по всей вероятности, еще до эшелона. Здание вокзала догорало, осталась только крыша. Но я этого не помню. В Воронеже мама болела малярией, приходила сестра, делала ей какие-то уколы. Галю Синеокову (Вихер) по Воронежу не помню. По рассказам мамы, та, узнав, что мы в Воронеже (мама откуда-то знала, что там находится Мера Кунина (Хейфец), и мы остановились у них), не дожидаясь нашего возвращения, побежала в баню, куда мы отправились после длительной дороги. Еще помню, что какой-то мужчина принес в чемодане помидоры и красные яблоки. Ощущение бездонности чемодана. Еще мама рассказывала, что она ходила на бахчу, таскала арбузы, возможно, и дыни тоже, но арбузы в памяти не задержались. Здесь опять перерыв в моих воспоминаниях. С маминых слов знаю, что Цале

(муж Меры) втихаря (не знаю от кого) давал нам стакан козьего молока.

Дальнейшие картины относятся к приезду в Челябинск. Зима. Идем по улице (то была ул. Чехова). Уже на крыльце закрытого дома оглядываемся, идет пожилая (ей тогда не было и пятидесяти!) женщина с коромыслом на плечах. Мы с Фаней кричим: «Бабушка Буня!» (В дальнейшем бабушку не помнил, и в 1946 году не узнал, а увидел как бы заново. Ничего знакомого для меня в ней не было.) По нашим крикам тетя Эмма (это была она) догадалась, кто мы. Долго стоим в прихожей-кухне, помню большую блестящую латунную кружку. Я устал, хочется сесть, лечь. Мама с Эммой долго разговаривают. Где тогда находился дед, не представляю: вещей у нас не было, стеречь было нечего. Жили мы у них не очень долго, я неоднократно болел воспалением легких. (Мама потом говорила, что только я шел на поправку, Эмма переставала топить. Сейчас я думаю, что, возможно, просто не было дров.) Помню, что лежал во время болезни на спине в комнате на столе. В один из таких моментов очнулся от дремы, видимо, от шума. То мама принесла какую-то бумажку и долго плакала. Не стало отца. Дед сидел в прихожей за столом над толстой книгой в черном переплете. В тех же полутора комнатах жили еще и Бася с Вовкой. Когда они переселились (в довольно приличную комнату в кирпичном доме в несколько этажей), не помню, но это было до того, как мы съехали в дом-землянку неподалеку от Эммы на ул. Калющенко, и мы уже обитали за загородкой, где

прежде располагались Бася с Вовкой. Когда я вновь посетил в 1959 году Челябинск, наш дом оказался землянкой, вросшей в землю, я был выше того дома, но он сохранился. Я постеснялся (о чем сейчас жалею) зайти и посмотреть, как он выглядит изнутри. О том, что все, а не только землянка, выглядело маленьким, говорить, не приходится. От Эммы мы переселялись в темное время суток. Мама объясняла Юзе, куда надо меня нести, она несла Фаню, а нести надо было не более полутора сот метров, правда, с поворотом.

Что помню еще о жизни в Челябинске? Различные детали, но насколько они важны и есть ли смысл на них останавливаться, не знаю. Детский сад оставил хорошие воспоминания. Первое посещение. Лето. Во дворе детского сада какие-то сооружения типа капитанского мостика с деревянной лестницей. Я забрался туда, а слезть боюсь. Высота метра полтора. Мама и Бася разговаривают с какой-то женщиной, черные волосы которой заплетены в косы и уложены на голове так, как потом носила мама. Женщина одета в джемпер (или кофточку) свекольного цвета. Цвет и сам джемперок точно такой, в каком впервые пришла к нам на урок в третьем классе учительница английского языка, очень красивая Нина Николаевна Дёмина, доведшая нас до десятого класса. Видимо, это был момент нашего устройства в садик. Эту воспитательницу дальше не помню. Боялся по болезни пропустить посещение садика из опасения не знать разучиваемые песни. Запомнилась пшенная каша,

казавшаяся очень вкусной. Летний лагерь, один раз мама навестила нас там. А вообще мы привыкли к тому, что мама занята, работает.

Яркое воспоминание о детском саде: праздники. Репетируем что-то про моряков, хочу быть капитаном, но мал ростом, роль достается Фане. Но зато на Новый год я в центре внимания, у меня роль — Новый Год. Бухгалтер наряжается Дедом Морозом, одна из воспитательниц — Зима. Ее запомнил, потому что перед самым представлением, наряженный в очень красивый, специально сшитый, красный костюм с белой оторочкой и бусами по полю оторочки, долго стою в ожидании своего выхода, точнее, выезда на «тройке». Трое мальчиков изображают эту «тройку». Стою в комнате, смежной с залом и освещенной сине-голубым светом. Вид, вероятно, у меня был унылый, а она подошла, присела передо мной на корточки и ободрила меня. Выезд прошел успешно, роль была в стихах:

Я сорок пятый, я радостный год,
Веселый и гордый, иду я вперед...

Дальше забыл (прошло 60 лет!). Мой успех был подкреплен подарком: домой идем с дедом, и он гордо несет под мышкой сверток — кусок (отрез!) «мануфактуры». Это слово, теперь почти вышедшее из употребления, знал еще в том возрасте.

Через четыре с половиной месяца была победа, поездка в День Победы в машине «скорой помощи». Летом не-

которое время — у Ханы в Коркино. Из-за пребывания там в школу пошел не первого сентября, а чуть позже.

Путь в школу не стоит перед глазами. Запомнил возвращение после уроков. Иду вроде бы в сшитых Иосифом галифе, дорога по некрутому склону недлинная, но успеваю подумать: «Вот, приду сейчас, а дома папа вернулся!» Тогда много говорили о возвращении с фронта тех, на кого были получены «похоронки».

Дальше был Ленинград и другая жизнь, которая представляется близкой, видимо, потому, что закончилась «почти вчера». А жизнь в Челябинске «покрыта большими снегами» и вспоминается уже словно через тусклое стекло. Прошло 60 лет!



Письмо шестое. Ленинград, детство

В Ленинграде мы прожили 46 лет и почти пять месяцев.

Не могу объяснить, как я, приехав из заштатного городка, который в пределах моего обзора был глухим городком с домами, не выше двух этажей (здание детского сада и школа, мимо которой мы ходили в детский сад), не изумился величественности, грандиозности поистине европейского города, в который в дальнейшем влюбился на всю жизнь. Когда мы в день (ночь) приезда шли по этому чудо-городу, мама, понимавшая разницу между Ленинградом и тем, что мы видели до того, ожидая, видимо, наших восторгов, изумления, спросила: «Ну, как вам Ленинград?» — кажется, я, а может, вместе с Фаней, ответили, точно не помню, что-то вроде: «Ничего» или «Город как город». И в дальнейшем я не понимал, как нам повезло не только видеть, но жить в этом центре мировой культуры, воспринимал красоту города как само собой разумеющееся, да и не очень обращал на эту красоту внимания. Хотя помню, как в газетных ларьках (киосках) покупал за копейки открытки с видами города. Запомнил почему-то, что очень нравилась открытка с изображением Ростральных колонн. Видимо, таков был уровень на-

шего сознания. Впрочем, Ленинград — это отдельный разговор.

Мы попали в район, населенный простыми людьми, но это были истинные ленинградцы. Многие из них пережили ужасы блокады, но сохранили порядочность, доброжелательность, какую-то внутреннюю интеллигентность, то, что так отличало истинных ленинградцев, то, что шло еще от Петербурга. Они переняли дух Петербурга, еще сохранялось влияние прежнего города, хотя, конечно, значительная часть петербуржцев была после 34-го года расстреляна, выслана, многие погибли в блокаду, но еще не успело понаехать село. Характерный пример. Почти на следующий день по приезду мы пошли гулять во двор, «колодец», образуемый основным пятиэтажным (с полуподвалом — шесть этажей) зданием и двумя флигелями по четыре (практически пять) этажа. Во дворе гуляли брат трех-четырёх лет с сестрой лет одиннадцати-двенадцати. У них были санки, и сестра катала младшего братика. Видя, как мы стоим и не знаем, как гулять, что нам делать, сестра, не задумываясь, предложила нам санки, чтобы мы тоже покатались. Откуда эта доброжелательность, желание поделиться тем, что имеешь? В дальнейшем эта девочка была товарищем наших дворовых игр (лапта, волейбол, штандер). С ней у меня связано еще одно очень существенное воспоминание. Там же, во дворе, мы впервые познакомились с антисемитизмом. Не помню, в какую игру мы собирались играть. Рядом находился парень, тогда казавшийся нам уже довольно

взрослым. Впрочем, ему, возможно, и было уже лет 16 — 18. Был он толстым, неповоротливым. Звали его Васей, их было два брата — Вася и Ваня. Этот Вася, за толщину прозванный сверстниками, составлявшими шпанистую компанию, «Хомя», с малолетками играть не собирался, но наблюдал за нашими приготовлениями. Неожиданно, возможно, не только для нас с Фаней, он вмешался со словами: «А эти играть не будут — они еврей». Ира, так звали ту девочку, сказала: «Тогда и я еврейка и тоже играть не буду». Откуда такая солидарность с гонимыми? Ее мать — простая женщина, как мне помнится, не работала, отец, хоть и преподавал в университете, но физкультуру. Это лишний раз подтверждает, что антисемитизм в России насаждался сверху, властью.

В доме проживали еще две еврейские семьи. (Одна, правда, была смешанной.) Этажом ниже нас жила одна из них — семья Дубровкиных. С их вторым сыном, Геркой, связаны годы моей детской и отроческой дружбы. Знакомство с ним началось вскоре по приезде, видимо, месяцев через 5—6, так как помню, что ходили мы уже в летнем. Он был стрижен «под ноль», но очень скоро отрастил выющиеся черные волосы — предмет моей постоянной и долгой зависти. Я часто бывал у них. Он у нас, как мне помнится, реже, видимо, потому, что у них было больше развлечений. Они жили с блокадных дней и успели обрести вещами, а мы только приехали, и у нас ничего не было. Хорошо помню, как поразил Геркину маму — тетю Раю. Сидим за столом, Герка напротив

меня, рядом с ним его мама. Он — третьеклассник, решает задачу по арифметике. Тетя Рая наблюдает, как у него не очень получается. Он уже несколько раз прочел условие задачи, так что я успел вникнуть в существо вопроса. Наконец, не выдержав его монотонного чтения условий задачи, я, первоклассник, говорю ему решение. На лице тети Раи удивление, смешанное с недоумением и, может быть, с некоторой досадой. Восторга, во всяком случае, не запомнил.

О той поре напоминает фотография, сделанная Геркиным старшим братом Вовкой. На ней подпись замечательным почерком мамы: «Два друга» и т. д. Указано, что я во втором классе, то есть это лето, скорее всего, 1946 года, так как в 1947 году я уже носил очки, а на фото я без очков. Несколько позже к нам присоединился и Яшка Глускер (может быть, Глузкер), большой остролов. Нас сближали двор, совместные игры (футбол, волейбол). Не помню, делились ли мы сокровенным, но мальчишескими тайнами возможно. Доверительных разговоров не помню, но чувствовалось, что мы разделяем одни и те же ценности, понятия нравственности и морали, одинаково понимаем, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Вообще среди поколения послевоенных ребят — простых, необязательно детей образованных родителей (да и мои, как и Яшкины, и Геркины, не имели особого образования), царили определенные правила чести: драка до первой крови, двое на одного не лезут, лежачего не бьют, то есть борьба должна быть честной. Как видите, я вырос во дворе, ничему плохому там не

научился, хотя в нашем доме было достаточно шпаны и жили даже профессиональные воры.

Оба, и Герка, и Яшка, были старше меня, учились на два класса выше и, естественно, потом сошлись между собой ближе. Наши связи практически прекратились, когда они закончили 10, а я 8 классов: Яшка поступил в военно-морское училище им. Фрунзе, Герка — в горный. Там я с ним почти не сталкивался — мы учились на разных факультетах.

Тогда, в школьные годы, мой досуг делился между дворовыми и школьными товарищами, о которых напишу отдельно.

Верующих в нашем доме, а тем более в школе и среди родителей школьных товарищей, по всей видимости, не было. Впрочем, возможно, а пожалуй, даже наверняка, были. Няня Андрея Сочавы была православной верующей в обычном понимании, но о вере, во всяком случае, никогда не говорили. Да и бабушек у ребят моего окружения, как сейчас посмотрю, почти ни у кого не было: у евреев почти все погибли в Холокосте, у других погибли в блокаду. У Герки были бабушка с дедушкой, но, в отличие от моего деда, религиозности у них я не замечал, правда, они жили не с семьей Геркиных родителей, а только иногда бывали там наездами. Так что вопрос о Боге, о происхождении жизни как-то не возникал. Ну а в школе, естественно: «Бога нет и быть не может».



Письмо седьмое. Школа, товарищи

В школу я пошел еще в Челябинске. Здание начальной (4 класса) школы было деревянное, одноэтажное, примерно в трехстах метрах от места, где мы жили. Учителей своих самых первых не помню. Была седая, как мне тогда казалось, очень пожилая учительница, ни имени, ни облика которой я не запомнил, и какой-то мужчина, по всей вероятности, преподаватель физкультуры. Запомнил, что ему нравилось, как я марширую и делаю повороты. Проучился я в Челябинске полторы четверти, видимо, поэтому плохо помню учителей. А 3 января 1946 года мы были уже в Ленинграде. В Челябинске туго было с тетрадями, и я помню, как мама на серой бумаге линовала нам «тетради» для письма. Тогда это была довольно сложная разлиновка: три поперечные, примерно через 5 мм, линии, затем сверху и снизу от них, на расстоянии миллиметров 10, еще линии, и все поле было равномерно покрыто косыми линиями тоже через пять, может, четыре миллиметра. Во втором и далее классах разграфление тетрадей постепенно упрощалось. В Ленинграде с тетрадями затруднений не было, во всяком случае, не помню. Мама давала деньги, и мы на двоих покупали сотню тетрадей, кажется, по 2 копейки за штуку, которых вполне хватало на год. Мне казалось,

что по приезде мы долго не ходили в школу, но сейчас я думаю, что это длилось не более десяти каникулярных дней. Мы с Фаней очень обрадовались, когда было решено определить нас в школу. Устраивал нас в школу дядя Гриша. Не знаю, как это происходило у Фани, но помню, что завуч Елена Дмитриевна Афанасьева, седая солидная дама, допускаю, что из «бывших» (она была на этой должности и когда мы кончали школу), сказала, что прием в первый класс уже закончен. Я успел расстроиться, но Гришенька сказал, что я уже учился и обещал, что буду у них лучше многих. У меня уже был табель, выданный в Челябинске, всего с одной четверкой по письму. Результаты второй четверти мне Гриша дописал, поставив по моей просьбе пятерку и по письму.

Запомнилась и такая, дорогая моему сердцу, деталь. До школы на Константиновском пр. было чуть меньше одной остановки. Теперь — ровно одна, так как кольцо трамвая перенесли, и остановка стала короче. На обратном пути мы хотели воспользоваться трамваем, который как раз приближался. Не знаю, зачем такое короткое расстояние Гриша (я-то, понятно) хотел проехать. Но я проявил «догадливость». Зная, что вход в трамвай, идущий от дома, располагается с противоположной стороны улицы, я, чтобы успеть, перебежал на противоположную сторону перед идущим трамваем, и, естественно, мы не смогли воспользоваться транспортом. Гришенька почему-то рассердился, а мне было досадно, и не столько потому, что не прокатился на трамвае,

сколько из-за того, что, желая проявить сообразительность, показал обратное.

Первую ленинградскую учительницу, хотя она учила меня только полгода, я помню хорошо, наверное, потому, что сохранилась фотография первого класса, и она жила, как будто, в доме № 16 по нашей улице. Мы жили в доме № 6, а между нашими домами был пустырь, в глубине которого располагался дом № 10. Куда подевались 8-й, 12-й и 14-й, не знал и тогда не задумывался. Теперь предполагаю, что дома были уничтожены во время войны — во дворе нашего дома некоторое время стояла сохранившаяся с военных лет кирпичная стена разрушенного дома, высотой не ниже третьего этажа. Учительница (ее звали Наталья, кажется, Николаевна) была строгая, иногда хлопала линейкой ребят по рукам, но меня никогда. Да, видимо, и не было оснований: в первом классе я был тихим и послушным. Кое-что об ее отношении ко мне, которого она, впрочем, никак не проявляла, говорит то, что на фотографии я запечатлен рядом с ней, она усадила меня по левую руку от себя. На фотографии тогда я узнал себя только по месту расположения: как выгляжу, не представлял, хотя зеркало дома было, и я видел себя на фото, например, где мы с Фаней в Челябинске, в 1943 году, когда туда приезжала Хася.

Запомнился переход во второй класс. В августе 46-го надо было проходить обычную регистрацию и медосмотр, и я пошел в школу. Мы тогда были весьма самостоятельными, нас за ручку не водили. Не помню

точно, кто тогда был секретарем, возможно, что мама Колюка, который учился на класс старше (она занимала эту должность вплоть до нашего выпуска). Она мне сказала, что весь мой 1-й класс переведен в 59-ю школу, и что мне надо идти туда. Я очень расстроился и не только потому, что плохо представлял, где эта 59-я школа на пр. Динамо находится. В таком состоянии я вернулся домой и рассказал о положении дел деду. Он пошел со мной в школу и сказал, что 60-я школа расположена близко от нашего дома, а 59-я далеко, и меня зарегистрировали. (Об этом эпизоде, кажется, я уже писал.) Таким образом, я попал в незнакомый мне класс, с ребятами которого проучился оставшиеся девять лет. Состав класса в течение этих девяти лет менялся, но костяк оставался. Из того нашего первого класса, переведенного в 59-ю школу, в 60-й полусредней (семилетке) школе, в дальнейшем преобразованной в среднюю (десятилетку), остались из тех, кто дошел до выпуска в 1955 году: Толя Зекин, Владик Будтов, Сёма Эскин, Боря Королев. Трое последних в дальнейшем учились в параллельном 10-а классе и закончили школу с золотой медалью.

Наверное, есть смысл рассказать и о некоторых моих соучениках, хотя никто из них, насколько мне известно, в отличие от часто рассказываемых популярными мемуаристами известных людей, с которыми сталкивала их судьба, не стал знаменитым. Интересно читать, например, у В. Катаева о Ю. Олеше, М. Булгакове и о многих других известных личностях, с которыми он

встречался, дружил. Интересно, к примеру (недавно случайно узнал), что соучеником Вл. Жаботинского в Ришельевской гимназии Одессы был Корней Чуковский. Мои же воспоминания, как я уже писал, интересны только мне и вашей тете Фане, хотя льщу себя надеждой, что, если не сейчас, то позже, эти письма вы прочтете не только по обязанности, но и с интересом.

Наиболее близки мы были с Громом (он всегда был для вас «дядей Громом», тогда как Павлова вы должны были называть Сергей Павлович), но он пришел к нам в школу только в 1952 году, в восьмой класс. Наши отношения мы пронесли через всю жизнь, хотя были периоды территориального отдаления, когда он работал на Чукотке. Переписка как-то не налаживалась, но каждый раз, когда он приезжал в отпуск, мы встречались, словно и не было расставаний. Его вы хорошо знаете, как и о нем знаете все или почти все. С ним мы сошлись в восьмом-девятом классе. Часто бывали один у другого, я знал его семью, он мою. С ним связаны наши «триумфы» на школьной сцене, драмкружок в ДПШ (дом пионеров и школьников). Он поддержал меня, когда я начал с тройки по английскому вступительные экзамены в горный институт. Тогда мы пошли гулять в ЦПКиО, он был рядом, и мне это как-то помогало.

Сблизились мы не сразу, впрочем, временные вехи сейчас точно установить трудно. Он сразу обращал на себя внимание своей необычностью, которая выражалась в его весьма своеобразном юморе. Вызвав его прочесть наизусть заданное на дом стихотворение

(помню очень хорошо, это стихотворение Н. Некрасова «Школьник»), Людмила Алексеевна (о ней разговор отдельный) сказала, что слышала, будто Гром очень хорошо читает стихи. Считалось, что я тоже хорошо читаю, еще в 4-м классе меня выставляла напоказ Лидия Константиновна, но такого чтения я не только не ожидал, но раньше и не слышал. Это было чтение со сцены мастера художественного слова. И громкость была неожиданной в таком щуплом тельце. Гром был инициатором и организатором наших выступлений на школьных вечерах. Запомнилась сцена допроса из модного тогда спектакля (названия не помню) о капитане армии США, уволенном из армии из-за его лояльного отношения к Советскому Союзу. Я играл сотрудника ФБР, а Гром — капитана Кида. По ходу сцены требовались два ордена: советский и американский. Советский взяли у преподавателя черчения Олега Павловича Норбекова, а американский крест я «изготовил» сам.

В качестве формы американского офицера использовали курточку с погончиками, снятую с нашего одноклассника Олега Прыгунова. Сцена имела успех, но настоящим триумфом было наше выступление на вечере встречи в 10-м классе (февраль 1955 г.). Мы играли несколько сцен из «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Этому вечеру предшествовало сочинение по «Поднятой целине» М. Шолохова. Мне претил этот «шедевр», и тут как раз Гром сказал, что надо ехать в костюмерную за костюмами, ведь сцены были из XIX века. Таким образом, мы,

«промотав» сочинение, получили по «колу». Эти единицы могли повлиять на наши годовые оценки, и тогда о всяких претензиях на медаль мне следовало бы позабыть. Но Бог уже тогда вел меня! Сцены стали украшением вечера, хотя Гром немного «перегорел» на генеральной репетиции, и Фаня сказала, будто я был лучше Грома. Мария Никитична (преподаватель литературы), конечно, знала подлинную разницу между Грибоедовым и автором «Поднятой целины» и оценила наш выбор произведения. Как результат, наши колы были переделаны на четверки — на пятерки исправить их было затруднительно.

После провала с поступлением в ЛИТМО, я вдруг «намылился» ехать к тете Ане в Саранск и перекантоваться там год у нее в педагогическом. Тогда у нас гостила Мила Шафировская. Она хотела заехать в Калинин, а затем в Саранск (они жили еще в Куйбышеве), и я собрался составить ей компанию в ее поездке. Единственный, с кем я тогда попрощался перед отъездом, был Гром. Он продолжал еще сдавать экзамены или сдал, но еще не знал о зачислении.

В том, как все обернулось в столице Мордовии Саранске, сейчас для меня ясно видна рука Творца, хотя тогда мне это было невдомек. Моя тетя была заведующей кафедрой математики, единственной на кафедре, имевшей ученую степень. Авторитет ее был столь высок среди преподавателей, что ни она, ни тем более я, учитывая сданные мной еще в Ленинграде вступительные экзамены и блестящий аттестат об окончании школы, не сомневались в моем зачислении. И действительно,

замдиректора меня сразу зачислил. Но неожиданно декан факультета, ревновавший к успехам тетки (она регулярно печаталась в центральных академических журналах, что было ему недоступно), опротестовал мое зачисление. В отсутствие директора, заместитель не стал с ним связываться. Меня отчислили. Тетка решила не конфликтовать с руководством и не ждать возвращения из отпуска директора. Мне пришлось уехать. Позже она говорила, что любой ленинградский ВУЗ наголову превосходит педагогический институт периферийного Саранска (правда очень скоро тот институт получил статус университета). В этом она, безусловно, была права.

Вернулся я в конце октября, а может, уже был ноябрь, но помню теплый солнечный день, когда зашел к Грому и проводил его в институт. Прошлись по Петровскому почти до Тучкова моста. Мы были в разных мирах: он студент, а я застрял в звании абитуриента. Настроение было муторное. Но меня «вдохновляло», правильнее сказать успокаивало, что он с девятнадцатью баллами поступил, и я уже выбрал, куда поступать в следующем году.

Когда в 1956 году я поступил туда же, в горный, встречаться мы стали реже, чем в школьные годы. Это и естественно: расписания наших занятий не совпадали. Мы уже не сидели за одной партой. У каждого из нас появились новые друзья, и мы стали меньше уделять внимания друг другу. Я, помнится, даже обижался: мне казалось, что Гром больше дорожит новыми друзьями.

Об институтских товарищах расскажу в отдельном письме. Но все же то, что мы учились в одном институте, позволяло нам видеться. Если бы мы учились в разных вузах, наши отношения, возможно, прекратились бы на некоторое время (студенческие годы). Но, вспоминая, как он, приехав с Чукотки в отпуск (почему-то зимой), нагрянул к нам на Кубинскую, думаю, что дружба наша, в любом случае, восстановилась бы, как это произошло в действительности. Видимо, нас связывало не только сидение за одной партой. Впрочем, в старших классах соседа по парте выбираешь сам. Был он тогда (в отпуске с Чукотки) в куртке, в каких в кино показывали летчиков и полярников. Удивил вашу маму пристрастием к крепкому чаю: пил одну заварку. Когда он с семьей окончательно вернулся с севера, вы узнали его поближе.

До Грома ближе всего мы были с Ильей Элинсоном. Во втором классе он приходил к нам, и мы играли в шахматы. (Тогда мы оба считали, что играем в одинаковую силу.) Но потом чаще встречались у него. Скорее всего, это определялось тем, что у них были лучшие квартирные условия: три комнаты в четырехкомнатной квартире. У Ильи с братом была своя, довольно большая, комната, обставленная по-спартански: две кровати с металлическими сетками, стол, старый книжный шкаф без стекол, впрочем, он появился не сразу, и Илья хвастался «обновкой». В ней (в комнате, а не в «обновке» — шкафу) мы и проводили время и даже играли в мяч. Часто, если не постоянно, при этом присутствовал и его младший (года на 3-4) брат, в семье

называемый Леней. В дальнейшем, когда он пошел в школу, то настаивал, чтобы его называли Александром, как в документах. Глядя на Илью, я примерно в третьем классе стал посещать шахматный кружок в ДПШ. Еще до этого я, когда приходил к ним, иногда заставлял Илью полулежащим на кровати с раскрытой книгой и расставленными шахматами. Книга знаменитого, но мне тогда неизвестного, Эммануила Ласкера называлась «Учебник шахматной игры». Илья посещал кружок регулярно и в этом деле быстро обошел меня. В 9-м классе он успешно играл на 3-4 досках на командном первенстве среди школ района, а еще раньше, классе в 3-м, в команде района на первенстве города, проводившемся во Дворце пионеров. Когда я в девятом классе возобновил прерванное ранее посещение шахматного кружка, у Ильи уже был второй разряд, а в десятом он поставил перед собой цель: выполнить норму первого, которую и достиг. Уже сюда, в Германию, он сообщил мне о своих дальнейших успехах: стал кандидатом в мастера, а в Израиле еще с какой-то приставкой к этому званию. Наша близость не в последнюю очередь ожидалась на нашем еврействе: среди учеников порой приходилось слышать слово «жид». Мы сознавали, что мы евреи, хотя не вполне отчетливо представляли, что это такое. Помню, как классе в четвертом-пятом Нина Николаевна попросила нас внести на последнюю страницу классного журнала представленные на листках анкетные данные учеников. Сначала мы старательно все вписывали: адреса и прочее, но потом нам это надоело,

и мы решили ограничиться указанием национальности, и притом только евреев. Здесь мы переусердствовали, не только вписали это слово жирным шрифтом, но полукровку (еврея по отцу) Карлика приобщили к избранному народу. К слову, об избранности евреев я впервые узнал от Элинсонов, пишу во множественном числе, потому что, как хорошо помню, говорил мне об этом младший брат Ильи. Конечно, Илья стоял рядом. Но что это за избранность, я тогда не представлял, да и Илья, думаю, тоже. Ведь Библии мы тогда не знали, не знали, что это Всесильный Бог создал для Себя народ Израиля, не знали смысла избранности.

Запомнились и уроки идиша, которые давал Илье (не помню, учился ли и Ленечка) его отец. Я как-то раз случайно попал на такой урок, и отец Ильи решил приобщить и меня к этим занятиям. В качестве учебников использовались книги, написанные для детей Л. Квитко и другими еврейскими писателями, писавшими на идиш. Мы получали (правильнее — получили, ибо я получил задание только раз) домашние задания. Алэфбейз (алфавит) к тому времени мне был уже немного знаком: дед (не мама, которая, как мы узнали уже после ее смерти от Гриши, оказывается, по образованию была учительницей языка идиш!) показал мне буквы. В доме был неизвестно откуда взявшийся алфавит на неформатном розовом листе бумаги, и я уже складывал известные мне еврейские слова. На следующем занятии я читал плохо, так как дома книг, по которым следовало готовиться, не было, и я приходил на занятие

«не сделав уроки». Но переводил хорошо — дома много говорили по-еврейски. Я как-то раньше не замечал, что мама лучше и больше всех Школьников говорила на идиш. Ее специальность не была востребована. Когда мы были уже в сознательном возрасте, преподавать идиш было негде, да уже и некому. Мама иногда, к слову, говорила, что она по образованию педагог, закончила педучилище, но о специализации никогда не упоминала. Думаю, что не умышленно. Илья же, наоборот, читал хорошо, а переводил слабо. Не знаю, по какой причине занятия прекратились, хотя, возможно, с Ильей они продолжались. Сейчас, вспоминая то время, Илья говорит, что помнит только занятия по ивриту. Это, видимо, в его памяти отложились более поздние события, когда он увлекся сионизмом и занимался с отцом ивритом. Сейчас я с интересом узнал, что в 60-е годы он втайне от отца входил в сионистскую группу с уплатой членских взносов и даже преподавал иврит. По этому поводу его вызывали в КГБ, некоторых ребят арестовали, но с ним ограничились допросом. В этой связи он очень беспокоился за отца, но тогда обошлось. Уехал в Израиль он в 71-м году, раньше родителей и брата.

Наша близость продолжалась до конца седьмого класса. Начиная с восьмого мы сохраняли ровные отношения, но дружбы, которая прекратилась из-за его отца, уже не было. В том, что мы отделились, как я теперь представляю, была рука Всесильного и об этих обстоятельствах хочу рассказать подробнее.

Как правило, занятия в школе заканчивались 18 мая, а с 20-го во всех классах, с четвертого и старше, начинались экзамены. У нас вошло в моду последний день прогуливать — «мотать». Это не всегда полностью удавалось, но в седьмом классе получилось. Мы полдня погуляли где-то около школы и пошли к Илье. Настроение было не очень: мы чувствовали свою неправоту. Вот играем мы у Ильи в детской комнате, куда заходят его родители. Отец очень рассержен, он спрашивает: «Почему не на занятиях?» Мы смущенно отвечаем, что «мотаем» всем классом. На что он раздражается гневной тирадой, из которой следует, что мы ужасно нехорошие, способны поступать, как все, и со всеми можем «затащить в подворотню девочку» и прочее. Завершил он свою речь сообщением, что он был в школе, и «все учителя указали на Раика как на зачинщика», и чтоб я больше не переступал порог их дома. Много позже я понял, как мог бы возразить ему: что тем самым он выразил недоверие как своему сыну, который, по его мнению, не может противостоять дурному влиянию и способен на тяжкие преступления, так и себе как воспитателю.

Я был обескуражен и представлял, как учителя (почему-то представлял учительницу русского языка и литературы Л. А. Александрову) говорят: «Вы подумайте, даже такие ученики, как Раик и Элинсон, тоже сбежали с уроков!» Допускал, что фамилию Ильи при его отце не произносили. В поисках правды побежал в школу, но никого из учителей там уже не было. Да и что я мог доказать, даже если бы учителя подтвердили,

что они, назвав мою фамилию, выражали всего лишь недоумение, как это такие хорошие ученики могли поддаться дурному влиянию.

Обида от пережитой несправедливости осталась на всю жизнь. Я перестал бывать в доме Ильи, в один миг дружбы не стало, хотя мы продолжали ежедневно встречаться в классе. Отношения сохранились ровные, но не более. Я понимал, что Илья не мог меня защитить ни в тот момент, ни позже, так как всегда находился под сильным влиянием, даже, пожалуй, давлением отца, под сильным прессом его авторитета.

Я больше не переступал порог их дома, даже когда окончили школу, и нам (ему и мне) не утвердили медали, снизив оценки за сочинение. (Подробности сообщу позже, когда буду писать об окончании школы и поступлении в вуз.) Учительница русского языка и литературы Лубенникова Мария Никитична написала письмо-протест, которое я принес отцу Ильи, чтобы тот отнес его в горно. Я оставался на лестнице, а он, в подтяжках, вышел ко мне на площадку. Его я больше никогда не видел. С Ильей последний раз мы виделись в середине 60-х.

Маму Ильи последний раз встретил спустя 15 лет, в сентябре-октябре 1971 года. Мы случайно столкнулись на прежнем кольце трамвая, что у ЦПКиО. Сейчас кольцо перенесено. Она мало изменилась и, как и прежде, была очень доброжелательна. Мы мало разговаривали, мне было не до откровений — только что умерла мама, но три фразы, в том числе две существенные,

остались в памяти. Сначала она, оглянувшись по сторонам — не слышит ли кто, сказала: «Илюшка уже там. Живет в гостинице с видом на море и изучает язык». Тогда я не очень поверил: здесь мы работаем и ничего не имеем, а там — за какие коврижки? Не то чтобы не поверил, а как-то не мог себе такое представить. Ведь я тогда представления не имел о социальной защищенности при капитализме, о том, как в Израиле помогают репатриантам, да и о многом другом. Был отравлен нашей пропагандой. Не понимал уезжавших, думал, как они там будут существовать, особенно на первых порах? Но во время той встречи мне было вообще не до того. Затем она сказала, что Илюшка совсем лысый, и просила меня ему об этом не говорить, чтобы не расстраивать. Как я мог ему что-то сказать, когда он был «уже там»? Подошел ее трамвай (мне нужен был другой номер). На прощание она посетовала: «Напрасно ты к нам не заходишь, наш папа тогда погорячился». Говоря о ее доброжелательности, я имел в виду в том числе и то, что и тогда, после случая с коллективным прогулом, она, по всей видимости, не была согласна со своим мужем и сожалела, что наша с Ильей дружба прервалась и я перестал бывать у них. Я думаю, что и отец Ильи, когда отошел и успокоился, быстро понял, что не прав, и сожалел о случившемся, но сделать первым шаг к примирению не позволяла гордыня: как же, он — писатель, журналист, солидный человек, а тут какой-то мальчишка... Почти как в «Двух капитанах» В. Каверина. Это мое мнение о том, что он тоже,

по-видимому, сожалел, не плод только интуиции или моего желания, оно не совсем беспочвенно, а имеет под собой определенное основание. А именно: этот эпизод относится уже к 1955 году, когда мы заканчивали школу. Девятнадцатого апреля (дату запомнил точно) был традиционный День последнего звонка. Отмечали торжественно, присутствовали некоторые родители. Учителя выступали с напутственными речами. От выпускников с ответной речью поручили выступить мне. Всю речь я, естественно, не помню, но часть, навеянная Рувимом Фраерманом, осталась в памяти до сих пор. В ней я среди прочего сказал, что учителей и друзей, с которыми повстречались в школе, мы запомним на всю жизнь и что ничто не заставляет нас так сильно любить школу, «как то, что с ней разлучает, — невозможность вернуться». На следующий день, 20 апреля, сижу дома, настроение неважное (уж не помню, отчего — ведь весна), просматриваю газету «Смена». Глаза блуждают по строчкам, останавливаются на заголовке: «День последнего звонка». В голове: «Вот, еще в какой-то школе отметили». Вдруг взор приковывает знакомая фамилия — Лёхина. Это же фамилия нашей математички! Читаю всю заметку и среди прочего: «От учеников с ответной речью выступил Раик». Была ли подпись под заметкой, теперь уже не помню, да я и не знал, как подписывает свои заметки отец Ильи. Но тогда, на торжественной линейке по случаю Дня последнего звонка, я сразу отметил, что среди родителей, присутствовавших в школе, был и отец Ильи. Эта заметка, с

указанием моей фамилии, и есть основание, о котором я упомянул выше.

После седьмого класса мы с Ильей не сторонились друг друга, бывало, уже в девятом-десятом классах общей компанией, вместе с другими ребятами — А. Сочавой, О. Прыгуновым, — уже ближе к окончанию школы, гуляли по Морскому проспекту, в ЦПКиО, играли в волейбол, но прежней близости уже не было. О событиях перед окончанием седьмого класса никогда не говорили. Не вспоминаем мы о них и теперь в нашей электронной переписке. Не знаю, вспомним ли, вернее, затронем ли их в разговоре при встрече. (Написано до поездки в Израиль. Во время моего посещения Израиля этой темы не касались, хотя, разумеется, о многом вспоминали.)

Илья был у нас бессменным председателем совета отряда. Как его выбирали, в памяти не сохранилось, видимо, меня на сборе и не было: меня принимали в пионеры позже, со всеми не приняли из-за плохого поведения. Пионервожатая запечатлена на фотографии второго класса. Особым, прирожденным вожаком Илья не был. Но у него были какие-то идеи и, как я интуитивно чувствовал, идеи были подсказаны его отцом. В частности, в названии стенной газеты — «Голос отряда» — чувствуется подсказка профессионального журналиста.



Письмо восьмое.

Школа, товарищи (продолжение)

Андрей Сочава

В пятом классе я на некоторое время сблизился с Андреем Сочавой. Не то чтобы мы отделились с Ильей, но у Андрея я стал бывать чаще. Он тоже заходил ко мне. Одно посещение помню хорошо: я показывал свои карандашные копии с двух открыток из Эрмитажа. Но у нас не было условий для игр, и потому, как и в случае с Ильей, чаще я посещал его. Сказывалось то, что он жил, хотя в небольшой, но отдельной трехкомнатной квартире. У них со старшей сестрой была своя небольшая комната. Он был очень развитым, интересовался и знал мифы древней Греции и Рима, вообще проявлял склонность к гуманитарным наукам, писал стихи. Его общий уровень развития определялся, конечно, тем, что родители были образованными и культурными людьми. Отец, геоботаник, был профессором университета и еще в те времена ездил за рубеж на конгрессы. Уже после окончания нами школы, в середине 60-х, был избран сначала членкором, а потом и академиком АН СССР. Мать работала в пединституте. Постоянно заставлял у них домработницу, по всей вероятности, оставшуюся у них со времен, когда та нянчила сестру, а потом и Андрея. Она была со мной очень приветлива. Потом

Андрей ближе сошелся с Мишкой Сомининым и Пашей Рабиновичем (Робой). Что сближало эту троицу, мне до сих пор не вполне ясно. Родители Андрея, безусловно, относились к Питерским интеллигентам, имели высшее образование. Тем более мне было неприятно узнать о проявлении в них антисемитизма. В отношении ко мне я этого не замечал. С отцом Андрея я вообще встречался редко, с матерью чаще. Мне казалось, что она весьма рада нашей с Андреем дружбе. Неприязнь их к евреям всплыла, когда их дочь, старшая сестра Андрея, вышла за еврея замуж. Они были категорически против, и ей пришлось уйти из дома. Позже они, видимо, смирились: я, бывая у Андрея, порой встречал там их зятя. Учился Андрей хорошо, но не блестяще, однако никого не удивило, что он сразу поступил на геологический факультет Ленинградского университета, что в то время было совсем не просто. Сестра его уговаривала идти на физический, где сама училась, но у Андрея не было способностей к точным наукам. Запомнился один момент, связанный с Андреем. Это было на Втором Елагином мосту, когда мы направлялись небольшой компанией гулять в ЦПКиО. По времени это относится, скорее всего, к концу десятого класса. В компании присутствовали, помнится, Илья и Олег Прыгунов. Вот тогда Андрей изложил «теорию», позволяющую снимать плохое настроение, помогающую, по его мнению, менее остро переживать события, представляющиеся нам трагедиями, катастрофами. Он говорил: «Представьте себя через несколько лет, когда

все настоящее, то, что вас сегодня заботит, тревожит, то, что кажется трагедией, будет уже позади. Независимо от того, как все кончится, оно не будет уже казаться таким страшным, тяжелым. Все миновало, трагедия позади. И вам станет, должно стать, легче, будто все уже в прошлом». В дальнейшем я пробовал поступать согласно этой теории. Иногда помогало, но, пожалуй, только владеть собой. В студенческие годы и после мы с Андреем не встречались. Последняя встреча относится к первой половине 70-х. Нас, офицеров запаса, тогда регулярно, раз в три года, вызывали на двух- трехнедельные курсы переподготовки, без отрыва от работы, то в артиллерийскую академию, то на высшие артиллерийские курсы, то на спецкафедру при университете. Вот на таких курсах мы и встретились. Он меня, видимо, узнал сразу и подскочил ко мне в своей сохранившейся со школьных лет манере, скользя ногами по полу. Я же, когда он ко мне обратился с вопросом, не Раик ли я, в чем, видимо, он был вполне уверен, не сразу узнал его. Он, как и его отец, носил бороду, закрывавшую пол-лица, но, присмотревшись, даже не очень пристально, я, конечно, узнал его: то же подвижное лицо с конопушками, неистребимыми и в зимний период, та же живость в движениях, которая мне сначала, когда он стремительно приближался ко мне, в незнакомом человеке не понравилась: мальчишество какое-то! Он был уже кандидатом наук и писал докторскую. Мы обменялись номерами телефонов, высказывали пожелание встретиться, собрав кого мож-

но из одноклассников. Но так и не собрались: жизнь закрутила. Хотя я как-то вскоре после того позвонил ему, прося протекции при устройстве на работу дочери Виктора Михайловича Соловьева, которая как раз заканчивала геологический факультет ЛГУ. Больше мы не встречались. Уже в Германии от Ильи я узнал о его смерти. (Хотел написать «о безвременной кончине», но подумал, а когда смерть бывает своевременной? Впрочем, бывает. Если человек не дожил до какого-то трагического события, не испытал его ужасы на себе и не увидел на близких, то иногда можно услышать: «Вовремя умер». Например, Вл. (Зеев) Жаботинский умер в 1940 году, недожив до Холокоста.)

Мишенька Карлик

О Карлике у меня сохранилось очень светлое воспоминание. Мишенька был самым из нас способным, причем в равной мере, как к гуманитарным, так и к точным наукам. (С горечью приходится писать в прошедшем времени — «был», хотя Юра Васильев еще задолго до нашей эмиграции, году в 85-м, не помню, что послужило поводом, говорил: «Марик, гранаты уже рвутся в нашем окопе». Правда, он года на три старше меня.) Женья его должен знать, он работал во ВНИМИ в подразделении НОТ — научная организация труда — и отличался общительностью. Мишенька никогда не выпячивался, был скромным, каким-то нежным. В нем, в движениях рук, было что-то по-девически мягкое, сохранившееся и к десятому классу, когда он

вытянулся и стал крупным, как его отец. Класса до восьмого-девятого у него был рост ниже среднего.

И Хана много позже, когда слышала фамилию Карлик, вспоминала: «Ой, какой он был маленький!» Родители его были образованными — мама владела французским языком. Это наводит на мысль, что она происходила из «бывших», возможно, из дворян. Пару раз я был у него дома — он жил напротив входа на стадион «Динамо». Мы, расположившись почему-то на полу, играли в какую-то настольную игру с плоскими фишками. С нами был Илья. Это он сказал: «Давай сходим к Карлику». Не помню, принимал ли участие в играх младший брат Мишеньки Вовка. Карлик бывал и у нас дома, не помню, как часто, но всегда производил впечатление на взрослых своей начитанностью и знаниями, особенно по географии.

Упомянув о его способностях, не могу не рассказать об одном случае. Как-то Мишенька делал какое-то сообщение, не помню, то ли это была политинформация, то ли коротенький доклад-сообщение, то ли реферат на 10 — 15 минут. Как положено, он держал перед собой лист бумаги с написанным на нем текстом сообщения или тезисами. Сообщение прошло, как обычно, и не запомнилось. Необычным было то, что Илья, кажется, это был он, а может, кто-нибудь другой, потом сказал, что Мишенька держал перед глазами... чистый лист! Не уверен, что это так и было, но сама байка говорит о многом. Я вполне допускаю такую возможность.

Учился он очень хорошо, но отличником никогда не был, по русскому языку имел четверку. Иногда имел и пару других четверок за четверть, что, казалось, не вызывало у него беспокойства. Так спокойно, без особых претензий, с четверкой за выпускное сочинение и с пятерками по остальным предметам, входившим в аттестат, получил серебряную медаль и поступил, кажется, в ЛЭТИ. После школы наши пути, как и с большинством остальных ребят (Гром — исключение), разошлись. Последнее упоминание о Мишеньке приходится на середину 60-х, во всяком случае, после 66 года, когда я уже работал во ВНИМИ. Дело было ближе к лету. Посещая на Крестовском маму, я встретил Илью, и мы прогуливались. Кажется, тогда присутствовал и Олег Прыгунов. Вдруг Илья предложил: «Пойдем на защиту Карлика!» Как тогда: «Давай ходим к Карлику». Я не пошел: был уже связан семьей, а Илья, как выяснилось теперь (это была и последняя ленинградская встреча с Ильей), на защите был. Об этом он написал в одном из электронных писем, которыми мы сейчас интенсивно обмениваемся. Когда речь зашла об отчестве Карлика, Илья написал, что помнит, как на защите зачитывали: «Михаил Исаакович, русский». То, что Мишенька вскоре после окончания института и аспирантуры быстро и раньше всех (до тридцати) защитил диссертацию, ни для кого не было неожиданностью. Больше я о нем не слышал, вплоть до печального события, пришедшего через Грома. Он рассказал, что к нему в рабочий кабинет, видимо, прочтя знакомую

фамилию на табличке у двери, зашел мужчина и спросил: «Не тот ли это Бехта, который учился с его братом Мишей?» Это был тот самый Вовка. Он сообщил, что Мишенька умер. Гром толком его ни о чем подробнее не расспросил. Илья уже теперь написал, что причиной смерти стала болезнь сердца.



Письмо девятое.

Школа, товарищи (окончание)

Еще из школьных товарищей, с которыми, однако, не был очень близок, но встретиться с которыми было бы интересно, следует назвать Зельцера и Шапира. Хотя, конечно, надо иметь в виду, что тогда мы были еще почти детьми, нас связывала только школа. Если бы не было необходимости каждый день ее посещать, то со многими из школьных товарищей мы бы и не встречались. Что полностью подтвердилось, после ее окончания. Толя Зельцер был очень смуглый, считал себя сильным, мог за себя постоять, впрочем, особых драк или, как мы их называли, стычек у нас не было. У него был старший брат Миша, который учился в 10-м классе (до того, естественно, в седьмом, восьмом, и девятом) первого выпуска нашей средней школы, пришедшегося на 1950 год. С Зельцером связан памятный случай, когда я ему чуть не повредил глаз. Играли в какие-то подвижные игры у Ильи в их детской комнате, и я случайно задел пальцем его глаз. Вроде ничего особенного не было, глаз не болел, но Толя все время видел где-то впереди и вверху, как он говорил, самолетик. В школу пришел вроде ничего, только все время платочком вытирал тот глаз, снимал слезу. Потом ходил к окулисту, и все прошло, происшествя,

как и не было, только я все терзался мыслью, что могло быть хуже, укорял себя, как же я так неосторожно. Толя высоко меня ценил, точнее, мои успехи, даже, можно сказать, хвастался мною. В свое время он поступил в строительный институт (ЛИСИ), имел двух сыновей, но после школы мы не встречались. А с его братом в годы моего студенчества мы несколько раз встречались.

Боря Шапиро был тихим, скромным мальчиком, сидел где-то сзади, хотя был мал ростом. Помню его маму, которая тоже казалась нам маленькой уже тогда (мы были, вероятно, в классе пятом), скорее с сероседой, чем с черно-бурой головкой. Дома у них никогда не был, он пару раз после школы заходил к нам. Вероятно, это было в классе четвертом-пятом. Мы вместе с ним пели в хоре. Бывало, нас с ним снимала с урока на репетицию Валентина Петровна — учительница пения, которого у нас после четвертого, а может, и третьего класса, к большой моей радости, уже не было. Уроки она вела неинтересно. Учился Боря средне, но ближе к аттестату стал проявлять себя в математике и химии. После школы поступил в Технологический институт им. Ленсовета, что тогда было отнюдь не просто. Рос Боря, как и я, без отца, тоже погибшего, как и наш, на фронте. Только сейчас обратил внимание, что названные до Бори товарищи, кроме Грома, отцов имели. С Борей после школы, насколько помню, лишь однажды случайно встретились. Это произошло примерно в начале 70-х, в районе станции метро «Парк Победы». Прошлись немного по Московскому

проспекту. Помню, что настроение у меня было не очень веселое: долго и тяжело переживал смерть мамы. С начала 2000-х он живет в Израиле.

Олег Прыгунов вызывает светлые чувства. Памятен он мне по нескольким эпизодам. Учился он хорошо, но все же уступал Карлику, Илье и мне. Тем не менее, классе в девятом я обратился к нему, чтобы он объяснил мне «суть» химии, которую я не любил, так как не понимал, поскольку с седьмого класса, когда она у нас началась, не слушал на уроках и не читал учебник. Причиной тому была учительница (не помню ее имени), которая не сумела расположить к себе класс и как-то заинтересовать нас своим предметом. С химией было то же, что и с математикой в 6-м и 7-м классах, когда учительница не владела классом, ее объяснения слушали единицы, остальные ходили по классу и занимались чем хотели. Геометрию потом ей (математичке) сдавали после уроков, причем многократно одну и ту же теорему, предварительно вы зубрив ее и мало что понимая. Нам повезло, что с 8-го класса нас уже вела Анна Платоновна Лехина, при которой я быстрее, чем ожидал сам, стал соответствовать требованиям момента. А вначале я даже предупредил дома, чтобы не удивлялись, если у меня пойдут двойки. Но дело ограничилось двумя тройками подряд в тетради, а третье задание уже было оценено на пятерку.

А по химии такого не произошло. Мой «интерес» к химии не изменился и позже, когда ее стал вести новый директор Семен Ильич, и позже, уже в 9-м и 10-м

классах. Так вот, думаю, что этот эпизод относится уже к 9-му классу, а может, и к 10-му. Тогда мы проходили органическую химию. Я всегда лучше усваивал на слух, чем из учебника, да и не очень хотелось вникать, а когда объясняют, запоминается как-то само собой. Органическая химия подчинена строгой логике, все объяснимо и имеет причинно-следственную связь, одно вытекает из другого. До органической химии я никак не мог понять (и до сих пор не понимаю, правда, и не пытался), почему при реакции «А» с «В» получается «С», а не, скажем, «Д». Олег с тряпкой в руках у доски, на переменах после уроков химии, в течение двух дней «примирил» меня с химией. А учительница пыталась мне в четверти вывести тройку. Я был настолько поражен и выразил такое удивление, которое, видимо, отразилось на моем лице, что она все же поставила мне четверку. Наверное, что-то еще поспрашивала, а я все же был не на нуле.

В дальнейшем мы с Олегом сблизились, правда, дома он у меня не бывал, а я был у него, кажется, всего один раз, когда он мне показывал бачок с коррексом для проявления фотопленки. Тогда же он показывал мне собираемый им детекторный приемник. Это сближение выражалось в том, что мы на уроках садились рядом, что-то обсуждали. Оно же, это сближение, зафиксировано, отражено на фотографии десятого класса, где мы сидим рядом. Но дальше эта близость не пошла — я с 9-го класса уже тесно сошелся с Громом, в том числе благодаря и драмкружку в ДПШ, и нашим с ним миниатюрам на школьных вечерах. Об этом я рассказал

отдельно, на страницах, посвященных Грому. А с Олегом мы поздно начали сближаться, не хватило времени, а после школы разошлись по разным институтам... Да, видимо, и не было достаточного обоюдного стремления.

Следующий эпизод — вроде бы ничего не значащий, просто я представляю, как мы гуляем группой, человек пять, по Морскому, идем через Второй Елагин мост. Эпизод, похожий на уже описанный на мосту, но теперь уже после окончания школы. Я не поступил, Олег-медалист поступил в политехнический. Гуляем, он мне и, кажется, Илье (может, был еще кое-кто из ребят) рассказывает, как сложно учиться в политехе, к тому же очень далеко ездить. Я чувствовал себя каким-то ущемленным, больше молчал. Это была одна из последних наших встреч с Олегом и Ильей. А последняя произошла уже году в 66-м. Именно тогда Илья предложил пойти на защиту Карлика. Больше, помнится, мы не виделись.

В мае 2005 года, будучи в Санкт-Петербурге, встретился с Борей Шапиро и вместе позвонили Олегу. Он был в больнице, но успокаивало то, что на профилактическом обследовании.

Еще о ком, по всей видимости, следует сказать, — так это Яшка Шехтель. (Привык называть его именно так, не Яковом и не Яшей.) Не потому, что нас что-то сближало. Насколько помню, мы никогда даже ни о чем не говорили серьезно, а потому, что он был (и сейчас еще есть, просто я пишу о прошлом) скромным, порядочным и тихим, несмотря на физическую силу, человеком.

Я знал его еще со времени, когда перешел во второй класс. В то лето мы с Фаней были определены на так называемую «детскую площадку», в последующие годы такое мероприятие стало называться «городским лагерьем». День мы проводили и питались там (не помню, сколько раз в день), а вечером уходили домой. Никакой строгости, связанной с этим мероприятием, не помню. Так вот, эту самую «площадку» посещали и два брата-близнеца, бывшие на класс старше нас: Яшка и Туська. Они были белобрысыми, с белесыми бровями — похожи, но не на одно лицо. В тот же год произошло несчастье: один из братьев, Туська, попал под трамвай и погиб.

С Яшкой в дальнейшем я встречался редко, он, видимо, учился в другой, возможно, 59-й школе, которая была ближе к дому, где он жил, — у стадиона «Динамо». Как-то видел его после окончания 6-го класса на вечере в 42-й школе. Тогда я опоздал на поезд в Бологое и поехал на следующий день с каким-то сотрудником Соломона.

В нашей школе Яшка появился классе в 8-м, а в нашем классе уже в 9-м. Он не был обычным второгодником-двоечником, просто его родители (не знаю, жив ли был отец) сочли, что он будет заметно лучше учиться, посещая 9-й класс повторно. Он был очень спортивным, происходил из семьи известных мастеров, о чем я узнал спустя много времени. Мать — знаменитая лыжница — готовила во время войны в блокадном Ленинграде бойцов-лыжников для рейдов по тылам. Яшка занимался метанием копья, на теле выделялась

каждая мышца. Свою силу никогда не демонстрировал, был очень скромным, неразговорчивым. Какая-то близость у него была с Костей Медведевым. О его матери я читал много позже, примерно в 80-х годах, кажется, в «Смене», а о сыне Артуре — чемпионе города по плаванию — в какой-то местной спортивной газете. Вот тогда я и догадался, откуда такое необычное имя его брата. Это сокращенное от Артура. Так Яшка назвал своего сына в память о нелепо погибшем брате. В том году (2005-м) мы с Борей Шапиро дозвонились до Яшки. Пятнадцать лет назад он перенес инсульт, передвигался только по комнате. Был рад нашему звонку. Тогда я и сказал, что помню его еще с 1946 года, мне показалось, что ему было приятно, что я помню и его брата Артура.

С Яшкой Шехтелем дружил особенно в 10-м классе, как уже написал, Костя Медведев. Вернее, они сидели за одной партой, и Яшка его прикрывал от приставаний Дашкова, который не то чтобы очень, но иногда приставал к кому-нибудь, кто наверняка не отважился бы лезть с ним в драку. Он хоть и был одним из самых сильных в классе, с Яшкой связываться опасался. Костя, по моим представлениям, был порядочным, учился неважно, и для меня было определенной неожиданностью его поступление с первого захода в медицинский институт. Впрочем, тогда в медицинском отдавалось предпочтение мальчикам. Костя в те времена имел велосипед, что было определенной редкостью — даже у Ильи его не было, а у Сочавы был дамский — его сестры Инны.

Я помню, как на Морском делал попытку овладеть искусством его вождения. Меня, вернее, велосипед, на бегу держали Илья и Костя. Тогда я так и не научился (с одного раза). Илья уже немного умел, но очень вилял.

Другие одноклассники заметных следов в моей памяти не оставили, да я и не преследую цель дать характеристику всем. Просто после посещения в 2005 году Санкт-Петербурга накатили воспоминания, связанные с теми, с кем удалось хотя бы поговорить по телефону.



Письмо десятое.

Учителя

Мне повезло с учителями. В первую очередь, по математике и физике, хотя с высоты прожитых лет мне кажется, что кое-что следовало объяснять, как это сделал бы теперь я. Это сугубо личное восприятие, мне было бы понятнее мое теперешнее объяснение. Иногда это добавление двух-трех слов, иногда предостережение от мнемонического правила, которое может увести в сторону от истины. Но по порядку.

Учителей начальной школы запомнил хорошо, хотя они менялись, и в каждом следующем классе была другая учительница. О ленинградской учительнице, у которой я учился в первом классе, всё, что помню, уже написал. Учительницу во втором классе, которая мне нравилась за её мягкость, звали Полина Александровна. А запомнил я ее все же из-за посещения ее дома. Не помню, чем было вызвано это посещение, наверное, помогали нести тетради. Я был у нее вроде бы не один, но с кем из ребят не помню. Хорошо помню, что жила она в доме, где я 15 лет спустя работал, но вход к ней был с другой стороны. Так как дом был ведомственным, то, видимо, ее муж был офицером. Мое внимание в ее квартире привлек приемник: тогда редко у кого он был. Я смотрел на панель с названиями различных городов

и считал, что стоит совместить указатель с названием и услышишь передачу из этого города. Само посещение я помню смутно, но хорошо запомнил, как, возвращаясь, стоял в ожидании 25-го трамвая на остановке на улице Куйбышева у дворца Кшесинской. Трамваи тогда, как, впрочем, и теперь, ходили нерегулярно. Осень. Уже темнело. Становилось прохладно. Мне 8 лет. Сейчас удивляюсь, как она не проводила до трамвая. Но мы рано стали самостоятельно разъезжать по Ленинграду.

На фотографии второго класса ребят много, фамилии всех не помню, даже мальчика, у которого был дома и с которым были какие-то отношения после уроков. А вот мальчика, жившего на Кемской улице, дальше Второго Елагина моста, и с которым общался ближе (помню, что он слегка картавил и рассказывал о своей младшей сестренке, которая «ковыляла» — видимо, еще плохо ходила), на снимке нет. Нет на том снимке и Полины Александровны, возможно, болела, на ее месте противная крупная старая еврейка, которая сама и прилюдно стригла машинкой ребят «под нуль». Если бы это написал нееврей, то наверняка его причислили бы к антисемитам.

Учительницу третьего класса помню, поскольку она присутствует на фотографии класса. Звали ее Мирра Александровна. Она была светловолосой. Тогда вопрос о национальности не возникал. Сейчас я себя спрашиваю, откуда такое еврейское имя у этой славянского типа женщины? На снимке в центре — директор в морском кителе, Попов Николай Николаевич. На этом фото

ребят мало, видимо, снимались в период гриппа или массовых простуд. Но на карточке имеется уже и Роба (Рабинович), хотя у меня все время было ощущение, будто он пришел к нам в классе пятом.

В четвертом классе появились учителя-предметники, которые вели свой предмет по несколько лет: Эсфирь Сауловна Меламед — географию; Блюма Захаровна Гольман — ботанику, зоологию, биологию; Наталья Ивановна Бородина — историю. Последнюю в старших классах сменил Алексей Алексеевич Вагин. А классным руководителем с четвертого класса у нас стала преподававшая нам английский язык еще в третьем классе, очень красивая и молодая, Демина Нина Николаевна, доведшая нас до выпуска в 1955 году.

Пару слов хочу сказать и об учительнице русского языка и родной речи в четвертом классе Лидии Константиновне. В следующих классах родная речь превратилась в литературу. Фамилию ее не помню. Она стала косвенной виновницей моей двойки по литературе в пятом классе. Лидия Константиновна высоко ценила мою дикцию и проталкивала меня с чтением стихов на различные мероприятия, предварительно демонстрируя мое умение заучу Елене Дмитриевне Афанасьевой. Заданное на дом стихотворение, которое следовало выучить наизусть, она на очередном уроке спрашивала у всех и делала это подряд, по списку в журнале. Я никогда заданные на дом стихотворения не учил, а, будучи в списке 19-м — 20-м и повторив про себя вместе с опрашиваемыми стихотворение 19 раз, выходил отвечать, уже

зная его наизусть. Система работала без сбоев до того момента, когда пришедшая к нам в пятом классе Людмила Алексеевна Александрова и стала опрашивать не всех, а, как спрашивают обычно заданный урок или правило, одного-двух человек. В это число попал и я. Я был ошарашен, не мог понять, почему она не спрашивала всех, и получил двойку за то, что до этого было моим коньком и давало мне неизменную пятерку. В пятом классе мы занимались во вторую смену, и я на завтра полдня учил заданное, как на зло, трудное для заучивания стихотворение Пушкина «Кавказ». Лидию Константиновну встретил как-то, будучи уже студентом, в ЦПКиО, сразу за мостом, у павильона. Она меня не вспомнила.

Людмила Алексеевна Александрова оставила в моей памяти особый след. Как выразился в недавнем (октябрь 2005 года) письме Ильи: «У тебя с ней были особые отношения». Мы хорошо понимали друг друга, точнее, она меня понимала и ценила, как сама как-то сказала, «за ум». Это, конечно, льстило мне, ибо я себя умником не считал, вернее, над этим не задумывался. Но, несмотря на это ее высказывание, когда мы с Ильей написали одно сочинение на двоих и подписали: «Издательство „Эра“», что должно было означать: Э-линсон-Ра-ик, она сочла, что моя роль ограничивается русским языком, а идеи, содержание — это уже Илья. Такое ее мнение основывалось, видимо, на том, что она переносила мнение об эрудиции отца Ильи на него самого. Каков вклад каждого в содержание и грамотность на самом деле, сейчас сказать не берусь, но тогда мне ее мнение было

не столько обидно, сколько вызывало досаду. Она ушла от нас в девятом классе, когда мы только начали кое-что понимать. Конечно, в то время привить нам подлинное понимание литературы было сложно, однако сам Ленинград, его радио, которое в нашем доме никогда не выключалось, позволили нам кое-чего «нахвататься», но по-настоящему образованными мы не стали. Это не очень заметно на общем фоне еще и потому, что мы ушли в технические вузы и в дальнейшем не возвращались в круг гуманитариев.

После ее ухода какая-то связь с ней у нас сохранилась: мы с Громом как-то навестили ее. Дома ее не оказалось, и мы пошли с тортиком в Публичку, где она тогда работала. Посидели и проговорили до конца ее рабочего дня, затем проводили ее до дома и, смущаясь, вручили этот торт. Потом, в десятом классе, я был у нее на ул. Пестеля с приглашением на спектакль драмкружка ДПШ, на который она пришла. Году в 74-75-м, когда мы жили на Гражданской улице, я случайно встретил ее на ул. Майорова — она навещала дочку, жившую в том районе. Она назвала тогда мне свой легко запоминающийся новый адрес, что оказалось в дальнейшем существенным, ибо я по нему через 25 лет, живя в Германии, разыскал ее. В письмах (ее почерк остался прежним, чего нельзя сказать о моем), особенно в первых, как будто ничего не изменилось, словно не прошло столько лет, изменивших, как потом выяснилось, не только меня, но и ее, хотя она была сложившимся человеком задолго до середины 70-х.

(Вообще ощущения, что я изменился, у меня никогда не было, видимо, из-за постепенности этого изменения. Даже после прихода к Богу, после того как я стал верующим.) А она изменилась, став членом организации «Свидетели Иеговы», не просто верующей, а именно «свидетелем Иеговы». Все ее устремления направлены на распространение веры и именно в ее понимании, которое является искаженной истиной. В широком смысле это, может быть, и хорошо, но нельзя же только этим жить. Безусловно, эта задача (распространение благой вести) является приоритетной, но не только ею исчерпывается жизнь даже искренне верующего человека. При нашей встрече она все время старалась обратить меня в свою веру. Хотя мы договорились в письмах не затрагивать вопросов, нас разделяющих, и некоторое время придерживались этой линии. Но вскоре перешли к обсуждению вопросов, нас волнующих. Это, прежде всего, вопрос Божественности Иисуса, избранности евреев (Израиля), теории «замещения», имен Бога, вопрос спасения. Наша полемика напоминает разговор глухого с немым. Она не отвечает на мои вопросы, а продолжает долбить «истины», которым ее научили лжеучителя. Постоянно ссылается на перевод Библии некоего Макария, вырывает цитаты из текста, не вникая в контекст.

В ней даже не чувствовалось образованного человека, на что я очень надеялся. Хотя, конечно, она и не стала той бабушкой-прихожанкой православной церкви, которую мы представляем при словах «православная

старушка». Я хотел с ней поговорить о жизни вообще, о прошлом, сравнить наши тогдашние представления. Полагал, что она будет, если не горда, то, по крайней мере, довольна, что один из ее учеников, хоть и без специального образования, редактирует три журнала. Она же преподаватель русского языка и литературы! И учитель! Она не смогла долго работать вне школы и очень быстро в нее вернулась. Может, в чем-то она права, но ведь не следует же выбрасывать всю прожитую жизнь, которая хоть и прошла без видимого присутствия Бога, но была путем к Нему. И, наверное, Он незримо присутствовал и руководил ее, как и моей, жизнью. Особенно Его водительство на протяжении всей моей жизни, с детских лет, видно (сейчас для меня это ясно) на моем разрыве, без моей вины и старания, с семьей Ильи и ухода из-под влияния его отца, которое могло стать решающим при моем становлении. Общаясь с ним, я, безусловно, был бы задет и увлечен идеями сионизма и уехал бы не в Германию, где мне открылся Всесильный, а в Израиль и, возможно, стал бы ортодоксальным иудеем. Во всяком случае, мой путь к Мессии, если бы и состоялся, был бы иным.

Но Всесильный предусмотрел именно такой, который, если посмотреть дальше, начался с нашего переезда в Ленинград. Впрочем, этому переезду мы вообще обязаны очень многим в нашей жизни: именно ленинградским образованием, культурой столичного города, на которой мы воспитаны. Короче, тем, кем мы стали, какими стали, мы обязаны именно жизни

с раннего детства в Ленинграде. Когда мы приехали в Ленинград, в нем еще сохранились привычки и дух столичного, в лучшем понимании этого слова, города, города интеллигентных людей. Когда росли вы, у города было уже другое лицо, а я помню, как на автобусной или троллейбусной остановке с краю тротуара стояли рядом человек восемь-двенадцать и без давки и толкотни спокойно входили, один за другим, в подошедший автобус или троллейбус. Особенно это характерно было для троллейбусов — автобусы были, как правило, более забиты. О том, что в транспорте всегда уступали места пожилым и пассажирам с детьми, и говорить не приходится. Какие-то приметы сохранились с 30-х, а то и с дореволюционных годов, например, в подъезде дома, в котором жил дядя Израиль, у лифта дежурил лифтер. (Обычно все же это была женщина, но мне не хотелось написать «лифтерша».)

О дяде Израиле (точнее я ему прихожусь внучатым племянником) следует сказать особо, хотя это и уведит в сторону от рассказа об учителях.

Родился он в 1888 году и был в середине между четырех сестер, а наша бабушка Буня была старшей. Привожу даты рождения сестер Хейфец: Буня — 1881, Мера — 1884, Хая — 1990, Эмма — 1894 годы. В 14 лет дядя Израиль с отличием окончил коммерческое училище, носил форму. После окончания форму продал. Один год преподавал математику и русский язык, кажется, в Лукомле (Эти данные со слов дяди Гриши). В Петербурге в ветеринарный институт его не приняли

(возможно, из-за процентной нормы, могло быть много отличников), а учился он и окончил институт в Варшаве. (Почему ветеринарный, у Гриши своевременно не спросил). Знал польский язык. Служил, как и Бабель, в конармии, но ветеринаром(!). Несколько лет работал в Сенно, затем уехал в Петербург.

Я слегка отклонился в сторону, но такова память, нанизывает одно на другое, цепляясь за какое-нибудь слово. Продолжаю об учителях. Людмилу Алексеевну в девятом классе сменила и выпустила нас после десятого (в промежутке была еще одна, некто Клара Петровна, излагавшая материал близко к тексту учебника, за что мы над ней демонстративно насмеялись) Мария Никитична Лубенникова. Старушка (думаю, ей было лет эдак 60!), хромая, седая, ходила в сеткой-авоськой, в которой носила наши тетради, в общем, производила впечатление скорее деревенской, нежели городской интеллигентной женщины. Ребята иногда, совершенно незаслуженно и не понимая сути, называли ее то Кабанихой, то Коробочкой. Дело свое знала хорошо и, как мне сейчас представляется, не одобряла «политику партии и правительства» в области искусства вообще и литературы в частности. (Эпизод с сочинением по «Поднятой целине» и сценами из Грибоедова описан в другом письме, где рассказывается о Громе.)

Эсфирь Сауловна Меламед вела у нас географию с четвертого класса до девятого. Запомнилось, что на первом же уроке в пятом классе она сказала: «Теперь

вы уже взрослые (мы закончили начальную школу, а в те времена нередко можно было встретить людей, не умевших расписаться. Мне, жившему в доме, в котором размещалось почтовое отделение (47-е), приходилось с этим сталкиваться), и я буду обращаться к вам на „вы“». Это к нам-то, десяти-одиннадцатилетним! Она умела найти подход к каждому ученику: в самодеятельном спектакле, ею организованном, привлекла к участию известного шпану Максимова (Мамалю), учившегося в одном классе с Геркой.

Гольман Блюма Захаровна вела у нас ботанику, зоологию, биологию. В отличие от Эсфири Сауловны, держать класс в руках ей не удавалось. Вела до девятого класса, когда предмет перешел в «дарвинизм», который вел третий на моем веку директор Ладода. Ее предмет я не любил, но, чтобы легче получить пятерку, ходил (очень непродолжительное время) в кружок, который она вела. Меня сверлила крамольная мысль-вопрос: каков вклад в науку академика Т. Д. Лысенко? Мичурин, ясно, — «бельфлер-китайка», Вильямс (еще не разгромили) — травопольная система земледелия. Все, попавшие в учебник, дали миру, науке что-то конкретное. А этот? Хватало ума вопрос не задавать. Ходили на пришкольный участок сажать яблони. Обе (Эсфирь Сауловна и Блюма Захаровна) ничем особым не выделялись, обычные, интеллигентные... Много позже я обратил внимание на то, что обе они еврейки и обе остались с детьми нашего возраста и без мужей, погибших на войне.

Вместе с ними в четвертом классе появилась и преподаватель истории Наталия Ивановна Бородина. Она часто болела (мы тогда не понимали, что ее «выдающаяся» полнота была вызвана болезнью), но класса до восьмого, правда, с перерывами (в одном из таких перерывов помню плотного, рыжего, с большими залысинами еврея, обещавшего каждый урок показывать кино, что и выполнял с помощью диапозитивов) нас как будто довела. С первых же уроков она вызвала у меня недоумение, перешедшее даже в неприязнь. Я, раскрыв рот, слушал ее рассказ о пути «из варяг в греки». На следующем уроке она вызвала меня, я почти дословно пересказал то, что она нам говорила. Она поставила мне только четверку. Впечатление не улучшилось и после того, как выяснилось, что она никому выше четверки не ставит. Так продолжалось до одного из родительских собраний (моей мамы, разумеется, на нем не было), после которого Леня Пастух сказал, что теперь ему по истории Наталия Ивановна будет ставить пятерки. Его мама была очень активна в родительском комитете. Мое негативное отношение к Наталии Ивановне подкреплялось ее, как мне казалось, придирками к Робе. Конечно, Роба не блистал успехами по истории, но мне казалось, что она к нему цепляется «из-за национального признака».

Эпохальным событием было то, что в восьмом классе математику у нас стала вести Анна Платоновна Лехина. До нее математику с шестого класса, когда, собственно, она и началась, вела Хилькевич Елизавета,

кажется, Петровна. Она не могла держать класс, на уроках ученики расхаживали по классу, никто ее не слушал. Поэтому предмет знали единицы. Приход Анны Платоновны, как выяснилось после окончания школы, значил для нас очень многое. Ей мы обязаны прекрасной математической подготовкой. В качестве доказательства может служить не только успешная сдача экзаменов при поступлении в институты всеми нашими выпускниками, но и конкретный случай: Генка Тихомиров, не числившийся среди лучших, а пребывавший где-то в районе 4,5, сдал математику при поступлении в училище в г. Пушкине на пятерку самому Шахно, выпустившему к тому времени задачник повышенной трудности для готовящихся в вузы. Анна Платоновна была строгой, ее побаивались, что подтверждается следующим примером. У нас было принято, что лучшие (не только по математике) подтягивают отстающих. Анна Платоновна попросила меня (поручила мне) позаниматься с Робертом Мазаяном. Это было классе в восьмом-девятом. Я его прилично поднатаскал, но когда она его вызвала, он от волнения и страха не мог произнести ни слова из того, что только полчаса назад подробно рассказывал мне. К хорошо успевающим она относилась доброжелательно, но особой близости не было. Выпускники всех лет всегда вспоминали ее с признательностью.

Еще одной знаковой фигурой был Владимир Иванович Лукашик, который вел у нас физику с шестого класса. Он сознавал, что многое мы глубоко понять не

могли, и потому запомнился его афоризм, обращенный, правда, к не очень разбирающемуся ученику: «Зазубри, вырастешь — поймешь». Думаю, что адресованы его слова были каждому из нас. Частенько проявлял нарочитую чудаковатость, например, вызывал отвечать учеников по порядковым номерам в журнальном списке, вынимая номер из мешка с «бочками» от лото. Каждый, кроме знания материала, должен был помнить свой порядковый номер. Писал на доске, снабжая отдельные буквы невообразимыми петлями, потом как-то, откровенничая, сказал, что делает это для привлечения внимания — так легче запомнить. Его побаивались — один из немногих мужчин в школе. Глаза у него были такие темные, почти черные, что, когда он обращался к кому-нибудь, указывая глазами: «Вот ты встань», то вставали два-три ученика — было не вполне ясно, к кому он обращался. Поэтому у него на контрольной, всегда ограниченной одним вариантом, не списывали, не зная, на кого он смотрит. Впечатление было такое, будто он не знал учеников, однако это было не так, он не только знал, но и долго помнил определенные эпизоды, в чем я не раз сам убеждался. В седьмом классе на экзамене он, по настоянию невзлюбившей меня математички (Хилькевич Елизаветы, отчества, как я уже писал выше, не помню, кажется, Петровна), принимавшей вместе с ним экзамен в качестве ассистента, поставил мне за отличный ответ четверку. Объявляя в коридоре, после экзамена, оценки и видя мое огорчение и расстройство (класс был выпускной — мы заканчивали семилетку), он сказал,

чтобы я не расстраивался, мол, мы еще отыграемся. Напомнил он мне об этом в десятом классе, когда я, хоть и на пятерку, но без блеска сдал экзамен уже на аттестат зрелости, что, конечно, было важнее свидетельства об окончании неполной средней школы. Точных слов по прошествии пятидесяти лет я, разумеется, не помню, но что-то вроде того: «Я говорил тебе тогда, что мы компенсируем». Еще один момент, подтверждающий не только его знание учеников. Классе уже в девятом, когда дело С. Ю. рассматривалось в кассационном порядке, а мама в то время состояла на учете в парторганизации школы, я шел как-то из школы и Владимир Иванович оказался рядом. Он спросил меня, как дела с «отцом». При этом сказал, чтобы я перешел на правую от него сторону, так как он на левое ухо не слышал. То есть он проявил подлинный, а не показной интерес.

Он считался хорошим методистом (думаю, по праву), у него получалась демонстрация сложных опытов. Когда мы учились классе в седьмом-восьмом, он составил очень своеобразный задачник для младших (6—8-х) классов. Оригинальность задачника выражалась в подобранных задачах, в частности, была такая. В комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Чацкий сообщает:

Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше семисот пронесся, — ветер, буря...
Найти среднюю скорость движения Чацкого.

Помню, как во время урока послал меня в издательство, находившееся в Доме книги, отнести недостающие к рукописи задачника рисунки-чертежи. Жаль, что мы

были уже в старших классах и не пользовались этим задачником.

Не знаю, насколько он был близок с учениками старших классов, когда мы были еще в младших и у него не учились. Может, тогда, особенно с первым выпуском 1950 года, он был ближе, чем с нами, во всяком случае, помню, как во время большой перемены он играл с ними в баскетбол на заднем дворе школы, где была оборудована площадка с баскетбольными щитами и корзинами. Играл лучше многих, во время игры выделялся, кроме Владимира Ивановича только один из учеников.

Алексей Алексеевич Вагин, преподававший в старших классах историю, запомнился не только тем, что был одним из немногих преподавателей-мужчин, или своими частыми болезнями, но и тем, что заставлял вести конспект, научил, как это следует делать. Часто ссылался на «Краткий курс». И хотя большинство из нас (может, и все, не уверен) поступили в технические вузы, этот опыт, не знаю, как остальным, но мне очень пригодился: я не только исправно вел конспекты по всем предметам, но, имея хорошую основу, отлично успевал в институте по истории и другим общественным наукам. Остальные учителя заметного следа в моей жизни не оставили, впрочем, я назвал почти всех. Но все же следует остановиться на преподавателе биологии, которая в девятом классе называлась «дарвинизм», так как этот предмет имеет определенное значение в свете основной мысли этих воспоминаний, а именно: Творец всю жизнь вел меня к вере, к принятию Мессии.

Дарвинизм вел директор школы Ладода П. С. (инициалы взял с выпускной фотографии), имя и отчество запомнил, что вполне объяснимо: он был мало чем примечателен и, как позже выяснилось, еще и, чтобы не сказать глупый, недалекий. Это проявилось на выпускном вечере, когда он испортил нам — Илье, мне и неожиданно выскочившему в «медалисты» Тихомирову праздник. Он мог сказать во вступительном слове, что вот такие-то представлены к медалям, а то, что нас не утвердили, сказать позже. Но он начал свою речь не с поздравления окончивших школу, и даже не с получивших медали, а со слов: «Не утверждены медали Элинсона, Раика и Тихомирова». От этого удара я оправился лишь через несколько лет. В дальнейшем с годами досада о случившемся как-то потускнела, и только в последние годы мне все время хочется вернуть то время и, объяснив Анне Платоновне ее ошибку, исправить четверку по тригонометрии, поставленную ею ошибочно.

Предмет он вел, не мудрствуя лукаво, то есть по учебнику, близко к тексту. Авторитетно разъяснял нам, что мы произошли от обезьяны, что эволюция длилась миллионы и миллионы лет и т. д. и т. п. Мы, как, возможно, и сам преподаватель, не очень задумывались над существом проблемы. Насколько я помню, вопрос о возможной альтернативе эволюционной теории даже не рассматривался. Генетика к тому времени уже была разгромлена (не побеждена научными аргументами, а просто объявлена несостоятельной), вейсманисты-морганисты сидели по тюрьмам и лагерям, гордость

отечественной биологии Николай Иванович Вавилов уже сгинул в советских застенках. Возможно потому, что среди наших знакомых, родителей или родственников одноклассников не было биологов, до нас даже не доносилось уже и эхо борьбы «передовой мичуринской биологии» с так называемым «мракобесием». (Много позже, уже после разоблачения культа личности и наступившей за ним краткой оттепели, я прочел пару прекрасных книг, точнее не книг, а художественных произведений в толстых журналах, кажется, в «Новом мире», Иосифа Герасимова о биологах и трагедии в биологических науках.) Деда давно уже с нами не было, поговорить о вере, о религии было не с кем, верующие представлялись исключительно темными старушками, посещавшими церковь. Сопоставлять церковь с синагогой как-то даже в голову не приходило. Встретившееся позже выражение Ф. М. Достоевского «народ Божий» применительно к евреям я понимал как «народ гонимый, жалкий», почти как «убогий», «юродивый». Совсем не понимал, что подразумевался «народ избранный» и избранный именно Богом.

Короче: «Сказал безумец в сердце своем: „Нет Бога“» (Пс. 13:1).



Письмо одиннадцатое.

Институт

Вторая попытка поступления в институт началась с тройки по английскому. За сочинение оценку узнал позже. Не то чтобы я так уж плохо был подготовлен (в предыдущем провальном году, когда оценка по иностранному языку уже ни на что не влияла, получил «четыре»), но мне достался отрывок, в котором что-то говорилось об иностранных языках (foreign language), и я никак не мог справиться с произношением. С четверкой за сочинение было 7 баллов, предстояли химия, физика и математика. Успокаивало (точнее, уговаривал сам себя) то, что в предыдущем году Гром набрал 19 баллов и поступил. Перелом в положении и в настроении наступил после химии, которую я никогда не любил и по-настоящему не знал. Получил пятерку: попалась сера и что-то еще, плюс задача. (Как потом выяснилось, экзамен принимал специалист по сере!) Немного поволновался на экзамене по физике. По билету было все нормально, но задача была о чем-то со сферическим (не то выпуклым, не то вогнутым) зеркалом. Я знал формулу линзы. Но то, что она годится для зеркал, я не знал. Владимир Иванович нам об этом не говорил, видимо, считал очевидным. И я кинулся выводить нужную формулу. Не доведя вывод до конца,

но, чувствуя, что время отвечать, быстро подставил данные в формулу линзы и... получил свою пятерку. По математике я чувствовал себя увереннее всего, но от волнения не мог коротко ответить на простой вопрос, заданный по ходу моего ответа о свойствах десятичных логарифмов, а пустился в долгие объяснения, в которых дошел до систем счисления. Принимавший экзамен Вержбицкий, невысокий, лысый, с черными бровями мужчина, ловя меня на слове — я говорил о простоте двоичной системы счисления, — попросил написать сто в двоичной системе. Своим ответом я с блеском закончил отвечать по разделу «алгебра», а геометрию и тригонометрию мы проскочили без дополнительных вопросов. Выводя по каждому разделу, а затем и за фигурной скобкой пятерку, он выразил уверенность, что с двадцатью двумя баллами я поступаю в институт. При зачислении несколько человек прошли и с восемнадцатью, среди них был Генка Шарапов — парень из российской глубинки, в дальнейшем очень быстро освоившийся в столичном городе и задававший на втором курсе на семинарах по философии каверзные вопросы, которые, конечно, не могли затруднить преподавателя. Диамат блестяще читал Лев Васильевич Смирнов. На его лекции для целого потока, собиравшего полных два факультета — наш и еще большой металлургический, приходила стенографистка, так они были популярны.

Еще до занятий в институте, во время поступления, познакомился с Ариком (Арианом) Фельгиным. Из-за того что мы изучали разные иностранные языки,

мы попали в разные группы, но, тем не менее, близко сошлись. Познакомился с его родителями: Моисеем Залмановичем и Ираидой Семеновной и ее мамой — бабушкой Арика Настей. Отец его, профессиональный художник, был тоже из Белоруссии, где-то близко от Сенно. Мама была очень красивой, на стене висел ее портрет работы отца. Откуда-то у нее был еврейский выговор («циит дем лосн»), хотя она не была еврейкой. Видимо, она тоже была из Белоруссии. Первое время я каждое воскресенье бывал у них дома, на Второй линии Васильевского острова, где мы занимались черчением. Бабушка или мама звала нас: «Арик и Марик, идите обедать!» Бывал и он у нас на Крестовском. Почему-то запомнились посещения летом — солнце, зелень, возможно, был солнечный сентябрь, бабье лето. Моя мама называла его «мальчик»: «Марик, иди поешь, и мальчик пусть идет тоже». Тогда он еще действительно очень молодо выглядел, не производил впечатления студента. Позже он вытянулся и посолиднел. А он говорил в ответ: «Мальчика зовут Арик». Был Арик и на свадьбе Фани с Милей Зекцером. Подаренные им кобальтовые чашки с блюдами сохранились до сих пор и находятся у нас в Штутгарте. Помню, как у Арика на Васильевском отмечали его день рождения, потом той же компанией (Вика Радайкина, Галка Грязнова и нас двое) готовились к экзамену по математике за первый семестр. Я был «консультантом». В общежитии я не бывал, а Арик сошелся кое с кем из иногородних и бывал там часто. Короче, мы не очень долго были

самыми близкими, но душевное родство сохранялось, даже когда мы «поссорились», кажется, на третьем курсе. Причину, разумеется, не помню, да и вряд ли она была серьезной. Потом, с третьего курса, он ушел из института и, кажется, попал в армию, что по тем временам было плохо, но не смертельно, и заканчивал институт позже. Не знаю, как на других факультетах, а на нашем очень доброжелательно, по-хорошему относились к «блудным сынам» и всегда охотно их восстанавливали. Когда после длительного перерыва мы встретились во ВНИМИ, то все так же с полуслова понимали друг друга, но прежней близости все же не было, хотя он сначала часто заходил в комнату 102, в которой я проработал затем лет двадцать. Возможно, влияло то, что я был уже семейным, не мог в любое время бросить все и пойти куда-нибудь с друзьями. Жалею, что не проявил достаточной активности для восстановления нашей былой близости. Был слишком увлечен вхождением в новую работу, а перспективы были туманные, продвигался к цели ощупью. Еще больше он как-то отдалился, когда перешел на работу в «Союзмаркштрест». Стали реже встречаться, так как уже не работали в одном здании. У каждого была своя семья, а семьями мы не дружили, наши жены не были знакомы. Мне казалось, что Арик был как-то ближе с однокурсниками, с которыми после перерыва оканчивал институт, чем с нашим выпуском, хотя участвовал во встречах наших выпускников. Я пытался восстановить наши отношения, пригласил его к нам, на Гражданскую.

Он пришел без жены (к тому времени он был женат второй раз, первая жена рано умерла), вопреки утверждению Женечки Павловой, что Арик вообще не придет. Но дальнейшего развития эта встреча не получила. К тому времени Арик уже попивал. Я с ним говорил по этому поводу, он все понимал, но импульса бросить у него не было. Впрочем, выпившим я его не встречал.

Родители его к тому времени переехали в кооперативную квартиру на «Голодае», в доме на Второй линии осталась младшая сестра Арика Наташа. В квартире на «Голодае» пришлось мне побывать только на поминках, после похорон Моисея Залмановича. Было это уже примерно на рубеже 70-х и 80-х годов. О смерти отца Арика мне сообщил Вадим Воронкевич, с которым Арик продолжал поддерживать тесные отношения. Сам Арик умер рано, не дожив и до пятидесяти. Из-за нестыковки — в воскресенье не смог узнать о дне и месте похорон — не проводил его в последний путь. На похоронах Вадима был. Не помню точно даты смерти ни того, ни другого, но и Вадим не дожил до пятидесяти лет.



Письмо двенадцатое. Институт (продолжение)

Чем еще запомнился институт? Поступив в институт, думал: «Вот, впереди пять лет, большой кусок счастливой, беззаботной, спокойной жизни. Жизни студенческой, со всеми ее радостями юности. Пять предстоящих лет — это, конечно, не так много, как десять школьных, которые длились довольно долго, но все же довольно приличный кусок времени». Но «кусок» оказался не таким большим и заметного счастья, которое чудилось на пороге новой жизни, в памяти не осталось. Особой близости ни с кем не было. Студенчества, единой семьи, не ощущал. Наверное, жившие в общежитии общались теснее, и какое-то студенческое братство они ощущали, но я оставался каким-то отстраненным от студенческой массы, был сам по себе. С Ариком как-то постепенно отдалились, он чаще, чем ко мне, стал навещать в общежитие. Других близких не было. С Сергеем сошлись позже, на третьем курсе, но бывали друг у друга не так часто, как, скажем, с Громом в школьные годы. Затем он вскоре, уже на третьем курсе, женился, и ему было не до дружбы. На четвертом курсе женился и я. Встречались мы уже только в институте, исключая праздники, которые иногда отмечали вместе. В школьные годы было как-то больше времени для

дружбы: жили сравнительно близко друг от друга, на дорогу к месту учебы времени почти не требовалось. Вместе с Громом посещали один драмкружок.

Из жизни, относящейся к институтскому времени, запомнились отдельные картины. Сидим с Тёминым на гранитных ступеньках спуска к Неве против главного входа в институт, греемся в весенних лучах солнца, запарка с зачетами позади. Экзамены не так страшны. Но это уже, кажется, второй семестр. А вначале все интересно, новые, специальные, предметы уже в первом семестре: геодезия, геология, минералогия, непривычные «возможности»: оказывается, можно не прийти на семинар или прийти не подготовившись, выступить необязательно, если спросят и ты не готов, небо на землю не упадет. Для меня это ново — привык знать материал, даже если не спросят. Кажущейся свободой не пользовался, к занятиям, в общем, относился ответственно. Не любил предметы геологического цикла. Особенно нравилась начертательная геометрия. Лектор (фамилию помню до сих пор — Рябков) прекрасно чертил от руки, было все понятно, ибо основывалось на школьных знаниях геометрии.

За семестр надо было решить графически на стандартных листах формата А 4 (которые сшивались в альбом) двадцать одну задачу. Задачи на дом задавались на практических занятиях, которые вели два преподавателя. Их имена помню тоже: Виктория Рольфовна Лангнер и Юрий Николаевич Попов. Последний вызывал студентов и решал с ними задачи у доски,

а Виктория Рольфовна в это время на задней парте проверяла альбомы с выполненными очередными домашними задачами. На каждом занятии студент получал следующую домашнюю задачу. Видя мое усердие, мне выдали все задачи, которые надо было решить за семестр. Я их решил уже к середине семестра. А к его концу у Виктории Рольфовны, из-за того, что ребята постоянно с большим опозданием сдавали очередные задания, скопилось столько непроверенных альбомов, что она, не успевала с их проверкой, обратилась за помощью ко мне, и я помогал ей проверять альбомы с заданиями.

Так называемые «общественные науки» давались легко. Очень нравился диамат, возможно, благодаря прекрасному преподавателю. Лев Васильевич Смирнов, в свои 27 лет уже кандидат философских наук, был умным, знающим преподавателем, с прекрасно поставленной речью. Его было легко конспектировать, он постоянно возвращался к высказанной мысли, но не повторял ее дословно, а выражал по-новому, облакал в другие слова. Он меня выделял, видимо, чувствовал мой интерес к его предмету, как-то поручил выступить на каком-то семинаре в РК, но пришло мало слушателей, и я скомкал свое выступление. На его институтских семинарах по диамату (истмат запомнился меньше) на втором курсе задавали самые разные вопросы. Генка Шарапов пытался подловить Льва Васильевича провокационными вопросами, но Смирнов всегда выходил победителем, да и неудивительно: с его-то эрудицией. Но почему, при изучении основ философии, ее истории, не

возникали вопросы о происхождении жизни, с чего все началось? Базис не обсуждался, изучалась надстройка. То, что я запомнил Льва Васильевича, неудивительно, удивительно, что он запомнил меня. Диамат и истмат закончились примерно в седьмом семестре, году в 59-м. А в 67—68-м, когда я уже работал во ВНИМИ, мы встретились на первомайской демонстрации и... словно не прошло стольких лет. Мы поздоровались, будто виделись вчера или на прошлой неделе. Но я забежал вперед. Вернусь к началу студенческих лет. На первом курсе — история КПСС. Предмет давался легко — была хорошая основа, заложенная в школе А. А. Вагиным. О преподавателях этого предмета стоит сказать пару слов. То, что все они были членами партии, говорить не приходится. Лекции читали попеременно, не помню, почему, Михлин и Утюжкина. Семинарские занятия вел Красиков. Об Утюжкиной ничего сказать не могу, знал ее плохо, она вела семинары в параллельной группе, где учился Арик Фельгин. На семинарах у Красикова, имея хороший багаж, я чувствовал себя свободно. Но меня очень удивило, когда году в 1980-м от Сергея я узнал, что тот работает швейцаром в Астории и ударился в религию. Я тогда этот его поступок не понял (да и не мог понять, будучи таким же атеистом, может, не таким воинствующим, каким полагалось быть работнику кафедры «История КПСС») и воспринял это известие с иронией и большим удивлением, ведь все они были воинствующими атеистами. Не знаю, когда он лицемерил, будучи атеистом или став православным. Сейчас,

по зрелом размышлении, если он был искренним, могу его понять. Пожалуй, он не лицемерил, ни работая на кафедре, ни уйдя в религию. С Михлиным помню случай, когда на лекции в аудитории человек на триста ему задали провокационный вопрос о том, являются ли евреи нацией. Дело было в 1956 году, как раз во время так называемой «Синайской кампании», когда Израиль в очередной раз нанес поражение объединенным силам арабских государств, усиленно поддерживаемых Советским Союзом. В СССР, как всегда, в прессе и по радио была раздута антиизраильская кампания. Этот небольшой, кругленький еврейчик в очках с сильными отрицательными линзами и тоненьким голоском вынужден был как-то выкручиваться — определение нации, данное «отцом народов», хотя уже и разоблаченным, еще было «единственно верным» во всей марксистской литературе. Как он вывернулся, уже не помню. А эхо от Михлина до меня дошло лет через семь, когда я работал инженером в войсковой части № 54034. Начальником одной из изыскательских партий нашего отдела был Сергей Александрович Полозов. Было ему тогда 54 года, происходил из семьи сельского священника, из-за чего ему пришлось пройти «хорошую» школу лагерей ГУЛага, что помешало ему получить соответствующее образование. Но он был человеком знающим (школа действительно была хорошей) и с большим чувством юмора. Как не имеющего высшего образования его, как в те времена часто практиковалось, иногда посылали на курсы повышения квалификации. «Важным» предметом

на таких курсах была История КПСС. И вот Сергей Александрович как-то рассказал (это надо было видеть и слышать, так артистично он изображал) о том, как он, будучи слушателем таких курсов, сдавал что-то вроде зачета (понятно, что это была простая формальность: обе стороны были заинтересованы в благополучном исходе). Видя полное отсутствие у слушателя каких-либо знаний предмета, Михлин спрашивает:

— Вы что, никогда с этим не сталкивались?

А Сергей Александрович очень так смущенно отвечает:

— Не-ет, знаете ли, как-то не приходилось.

— И что, вообще ничего об этом не слышали?

— Да вот как-то н-н-е-е-т.

— Как же вы до сих пор жили и работали?!

Тогда я изумлялся глупости Михлина, а сейчас полагаю, что он был не такой дурак и имел в виду, видимо, как же Сергея Александровича до сих пор оставляли в покое, оставляли «неохваченным» этой демагогией, пронизывавшей все структуры тогдашнего общества.

Но это было чуть позже, а пока я первокурсник и по-деловому вхожу в старинное здание. Фасад Горного института, одного из старейших в России, построенного по проекту известного архитектора А. Н. Воронихина, на входящих в него особого впечатления не производит. И не только потому, что сам фасад и фигуры античных героев при входе, почти все время покрытые строительными лесами, постоянно реставрируются, а скорее потому, что на здание следует смотреть

с некоторого расстояния. Но такой возможности нет: здание расположено очень близко от гранитного парапета набережной, на которую обращен главный вход в институт. К тому же перед самыми ступенями входа проложены трамвайные пути. А вот главный коридор, в который мы почти сразу попадали, войдя в здание института, впечатлял, запоминался навсегда. Он был увешан портретами ученых, составлявших гордость Российской горной науки. Первое время я проходил по этому коридору с некоторым трепетом. Слева по ходу из коридора был вход в две очень большие аудитории (100 и 102), где мы слушали лекции, в основном по общественным наукам. В них собирались студенты целым потоком примерно из десяти учебных групп. Две наши маркшейдерские группы соединялись с первым курсом большого металлургического факультета. Последний раз я был в аудитории 102 в 1965 году на защите кандидатской диссертации Иосифом Финаревским, которого вы хорошо знаете не только по их визитам к нам на Кондратьевский: Жека по ВНИМИ, а Веня по Дортмунду.

С ним мы познакомились, когда я был на первом курсе, а он тогда уже закончил третий. Он сразу обращал на себя внимание: огромного роста брюнет с характерной еврейской внешностью, умное и почти всегда ироничное выражение лица, ходил большими шагами, высоко неся гордую голову. Не знаю, чем, но я, по всей вероятности, тоже привлек его внимание, впрочем, не только его, особенно после факультетского вечера, где

я выступал с речью от первого курса. Наш и их курс как-то сблизились, побывав вместе на практике в Вышегороде — мы после первого, они после четвертого курса, хотя они, конечно, смотрели на нас сверху вниз, а мы на них, не знаю, как все, но я с уважением. Думаю, что Иосиф, как и я, понимал, что оба мы оказались в горном институте не по страстному стремлению сердца. То есть мы понимали друг друга, не обсуждая этой темы. Иосифа ценили все, а В. Г. Зданович, как мне представляется, видел в нем продолжателя своего дела. (Как-то высокопарно звучит.) В дальнейшем, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, они стали друзьями. В 1958 году Иосиф с отличием окончил институт и стал работать во ВНИМИ. Встретились мы вновь только в 1965 году на Всесоюзной конференции по аэрометодам. Тогда же он пригласил меня на свою защиту, а позже, в 1966 году, помог мне перейти во ВНИМИ, где мы уже встречались почти ежедневно. Рады были этим встречам, но сближения не происходило — я с слишком большим почтением относился к Иосифу, а что мешало ему сделать первый шаг, не знаю. Сблизились мы около 80-го года, когда я догадался пригласить его с Инной к нам, где познакомились наши жены. А до этого он был без Инны на банкете, посвященном моей защите в 75-м, а я без вашей мамы на банкете по случаю его защиты докторской в 77-м году. В дальнейшем мы дружили, как принято говорить, семьями.

Во ВНИМИ последние 12 лет мы не только виделись каждый день, о многом разговаривали, обсуждая не

только некоторые рабочие и внутриинститутские вопросы. В обеденный перерыв почти ежедневно чаевничали в его кабинете главного научного сотрудника, когда он оставил руководство лабораторией вычислительной техники и полностью переключился на работу в лаборатории фотограмметрии.

Однажды, в марте 1991 года, во время такого чаепития Иосиф сказал, что Германия принимает евреев на постоянное жительство, и показал имевшиеся у него заполненные бланки заявлений в консульство ФРГ об эмиграции. Вскоре мы тоже подали заявление, осенью получили разрешение на эмиграцию, а 24 мая 1992 года были уже в Штутгарте. Начался новый, видимо, заключительный этап нашей жизни. Это было на ваших глазах, и вы хорошо все помните. Но я опять отклонился.

Что еще осталось в памяти об институтских годах?

Среди студентов двух групп маркшейдеров нашего курса было много солидных и крупных ребят. Большая часть — приезжие, многие чуть ли не из деревни. Среди них ни одного верующего. Впрочем, допускаю, что верующие могли быть, но ни поведением, ни разговорами они себя не выдавали, как я только сейчас стал понимать, не столько из-за боязни насмешек, сколько из опасения быть отчисленными. Уже на втором курсе по весне, кажется на Пасху, собрались несколько человек в синагогу, но весь смысл был в том, чтобы уйти с занятий, а не посетить богослужение. О Боге, как и о происхождении жизни, мы тогда и не думали. Да и о богослужении не знали мы тогда ничего. О, как

мы далеки были от Бога! Не помню, дошли ли мы до синагоги, но с занятий ушли.

Тогда запомнился восстановившийся в институте на нашем курсе после отчисления драчун и забияка Генка Креславский. По внешности — типичный еврей, очень похож был на тогдашнего премьера Египта Насера, буквально одно лицо, только ростом не вышел, был не выше меня. Во всем остальном был очень далек от устоявшегося образа еврея: пьянствовал, буянил, его поведение еще до его появления у нас в группе постоянно обсуждалось в деканате, фамилию мы слышали. После восстановления чуть поутих. Запомнился в том походе в синагогу тем, что даже не мог правильно произнести слово «синагога», сказал: «синегога». Последний раз видел его в коридоре горного в 1980 году, когда поступал в институт Жека. Генка приходил поискать, кто бы из сокурсников, обосновавшихся к тому времени в горном, посодействовал в поступлении его сына. Я издали не сразу узнал его: очень полысел, от буйной шевелюры осталось лишь воспоминание. Но лицо не изменилось. Сын его, по всей вероятности, не поступил: у Жени на курсе студента Креславского не было.



Письмо тринадцатое. Институт (продолжение)

После первого курса первая в моей жизни практика, так называемая учебная, геодезическая. Мама что-то дала с собой из съестного, купили мне рюкзак и куртку-штормовку, взял с собой и керзачи. Рюкзак коричнево-бордового цвета служил мне долго: поездки на все другие практики, затем колхозы-совхозы. Да вы его помните. И куртка служила мне долго. Вы и ее должны помнить: Веня носил ее в Толмачево, когда вы были со мной на практике от ЛИИЖТа. Практику в Вышегороде особенно описывать нет смысла — Женя сам прошел ее, а до того вы оба летом побывали со мной там, когда я уже работал в Вышегороде в качестве преподавателя.

Преподаватели — знакомые. Разбили нас на бригады. От той первой практики осталось интересное воспоминание о неожиданно напавшей на меня тоске. Сначала было все внове, день заполнен работой, кругом много студентов с различных факультетов, вечером игры, песни. Но через две недели, когда несколько групп геологов закончили свою практику, в момент их отъезда, напала какая-то тоска, захотелось домой. Но такое настроение быстро прошло, ведь оставалось много ребят. Через месяц оставались лишь маркшейдеры первого и

третьего курса, но тоска больше не нападала. Повторилось такое настроение, хотя тоска была не такой острой, как прежде, на практике в Вышегороде после третьего курса. Расписание было таким, что под конец оставались только мы. Даже первокурсники, у которых, как всегда, была двухмесячная практика, уже уехали. Время приближалось к осени. Стало раньше темнеть, уже не было по-летнему жарко, напала какая-то грусть. Сергей досрочно сбежал, получив от Женечки телеграмму с условленным лживым сообщением о болезни матери. Об этой второй практике в Вышегороде осталось еще одно воспоминание. Иду от Белой Церкви к поселку «Горняк» рядом с ведущим у нас астрономию и картографию проф. К.А.Звонаревым. Женя его не застал, да и в нашу бытность он в Горном работал частично, а основная работа его была уже в ЛГУ, куда он ушел заведовать кафедрой картографии. Он спрашивает: «Что, товарищ Раик (он всех называл словом «товарищ» и по фамилии), второй раз здесь?» «Да, — отвечаю — второй». А он продолжает: «А я — двадцать второй». Кто мог тогда предположить, что и я через полтора десятка лет еще не раз буду в Вышегороде на учебной студенческой практике уже в качестве преподавателя? Думаю, что вы не забыли те годы, когда мы с вами ходили в деревню и выпивали литр парного молока на двоих, сначала с Веней, а через год с Женей. А хозяйка перед тем спрашивала у нас, куда налить молоко. На кольях ее забора висели перевернутые чистые банки, в одну из которых она и наливала нам молоко. А год

семидесятый? Чемпионат мира по футболу, комендант выставил в окно телевизор, и мы смотрели финальный матч Бразилия — Италия. С Веней мы были на практике, кажется, два раза, а с Жекой один, в 74-м году, когда у нас появился Энесик. Но Жека потом опередил Веню по числу поездок в Вышегород, да и в Толмачево он бывал больше.

Сейчас, с высоты не только лет, но опыта проведения таких учебных практик, мне кажется, что я мало извлек из той практики потому, что передо мной не ставили конкретных задач и не объясняли, как их следует решать, то есть дать схематично общую цель. Приходил преподаватель к месту работы, справлялся, как идет дело. Не помню, чтобы он объяснял, что и как следует делать. А может, я ворон считал? Возможно, преподаватели полагали, что мы (маркшейдеры) в отличие от студентов других, не профильных факультетов, лучше подготовлены и без того все хорошо знаем. В нашей бригаде была Тамара Мешкова, закончившая до института топографический техникум, в программе которого была (возможно, и не одна) такая практика. Она представляла, для чего мы делаем отдельные операции. По существу она была бригадиром, хотя числился им я. Впоследствии, когда я был преподавателем на практике, я объяснял суть работ, а затем конкретно, что и как надлежит делать, то есть от общего к частному.

После первой практики единственный раз за все время учебы в Горном у меня был нормальный отпуск — каникулы, длившиеся один месяц. На следующих

курсах такого не помню: каждое лето — практика, а после третьего курса — и учебная, и производственная. А тогда, в 57-м весь август был дома на Крестовском. Только теперь я понимаю, что тот август был последним месяцем моей беззаботной жизни. А может, юности? Да, пожалуй, именно с ним кончалось и отрочество, и юность, наступила молодость, появлялись обязанности. В некотором роде я уже перестал принадлежать себе. Жизнь стала строго регламентируемой.

В сентябре погнали девочек под Ленинград в колхоз, а нас на целину, в Омскую область. Занятия начались только в октябре, но семестр, как обещал перед поездкой на целину тогдашний директор института проф. Д.А. Казаковский, не был сокращен. Сократили следующий, третий. Ехали в товарных вагонах на нарах. Дал телеграмму тете Рае, что буду проездом в Молотове, но не указал, что только на вокзале. Прибежала Милка, только что вернувшаяся с такой же целины. Мы вместе очень огорчились, оттого что тетя Рая будет переживать, что не увидит меня. С целины вернулись очень быстро: был неурожай, и делать нам было нечего. Но группе ленинградцев повезло: на постройке свинарника заработали по 800 рублей.

Первая маркшейдерская учебная практика в подземных условиях в шахте (Сланцы) ничем не примечательна, разве только тем, что к концу (все же два месяца однообразной работы) потянуло домой. У меня сохранилось впечатление какой-то несерьезности в отношении ее проведения, как к детским играм. Может это

связано с тем, что мы были там коллективом и потому не чувствовали достаточной личной ответственности. Это, разумеется, мое личное впечатление. Отсутствовало ощущение становления, взросления. Впрочем, это, возможно, теперешнее восприятие, как и вообще все, что пишу.

Первая производственная после третьего курса в 1959 году прошла на Урале, на шахте Куллярская в маленьком шахтерском городке-поселке Красногорск. Я выбрал Урал, чтобы побывать в Челябинске, где мы прожили четыре военных года.

Перед практикой я познакомился с вашей мамой. Май — июнь, в промежутках между моими экзаменами, гуляли по Ленинграду. Встречались обычно на остановке трамвая у Инженерной, я приезжал на двенадцатом трамвае, мама с другого конца на тройке, шли на площадь Искусств и далее обычно без определенного плана. Иногда ходили в кино (помню «Колизей», маму в шляпке, как у чеховских барышень XIX — XX веков). Иногда ходили в филармонию, театры: в памяти сохранилось ее черное платье со сдвоенными листочками желтого цвета, которые я издали принял за горошины, и блестящая черная театральная сумочка.

В другой раз она была в прекрасном платье цвета фрез, которое ей очень шло, как впрочем, все и всегда. На встречи я приходил без цветов, как-то у нас в доме не было принято дарить цветы, считалось, при нашем достатке, целесообразнее дарить что-либо более практичное. Эта внешняя скардность сохранилась во мне

до сих пор. Подарками я маму не баловал. Помню, что на 8-е марта преподнес духи. Я тогда, да и сейчас не очень разбираюсь в духах, сориентировался по цене, величину которой еще не забыл: 25 руб., что по тем временам было не так мало. Французские, по 40 руб. появились в СССР позже. А это было уже после хрущевской девальвации 1960-го года десять к одному, когда я вернулся с практики, и наши с мамой встречи возобновились и стали регулярными. Не знаю, каковы духи были на самом деле, но помню, как мама сказала, что духи хорошие.

В Красногорске очень скучал: телевизоров тогда не было, после работы заняться было нечем, библиотека меня не очень устраивала. Чтобы не оставаться одному в комнате, где, кажется, и радио-то не было, выходил на единственную (главную) улицу, вдоль которой стояли двух- и трехэтажные дома. С мамой поддерживали переписку.

Каждую субботу (тогда еще работали по субботам) после работы ехал в Челябинск к Эмме — бабушкиной сестре, где проводил воскресенье. К тому времени у Любы и Юзи (дети Эммы, хорошо знакомые нам еще со времен войны) уже было по две дочки. Есть напоминающие о том времени фотографии. Эммы давно нет, остальные тоже давно в Израиле. Разыскать их трудно: девочки, видимо, имеют другие фамилии, а я знаю только девичьи. Писал на адрес Юзи, который мне дала Хана еще в 1993 — 94 году, но письмо вернулось назад.

Места своего раннего детства с трудом узнавал, все стало таким миниатюрным. Здание детского сада нашел, а вот первую свою одноэтажную школу нет. Не нашел и дома, где жила Бася с Вовкой. Не знаю, почему не искал более тщательно, чего-то стеснялся, что ли?

Практика мне дала не очень много. Сейчас, задним числом, я понимаю, что сам тому причина: не проявлял интереса, инициативы, а потому самостоятельной работы главный маркшейдер — Родион Иванович Рейзвих (как мне сообщил рабочий маркшейдерского бюро, Рингольд Иоганович) из переселенных поволжских немцев — мне не поручал, я был так, на подхвате. Хотя участковые маркшейдеры частично уходили в отпуск, но меня главный оформил рабочим, поэтому домой я привез, после оплаты общежития и питания, всего 800 рублей. По тем временам это было довольно прилично, но мог, конечно, привезти значительно больше, если бы главный не поскупился. Как будто он платил из своего кармана. Просто кончились те времена, когда маркшейдеров не хватало и практикантов ставили на инженерные должности, времена, о которых нам рассказывали старшекурсники. Много позже Иосиф поведал, как он проходил практику в «Эстонсланце» в должности участкового маркшейдера у Эммануила (кажется, Марковича, забыл я его фамилию и вообще стал забывать именно фамилии, на которые раньше у меня была очень хорошая память). Да и не только на фамилии. Кажется, все же Гершович или что-то в этом роде. Иосиф называл его Эмилем. Тот был молодым

специалистом, и они вместе с Иосифом проделали тогда большую и важную работу по прокладке рабочего обоснования. Я познакомился с Эмилем в конце 70-х, он был уже главным маркшейдером шахты, и мы у него проводили испытания наших разработок.

Вторая практика по высшей геодезии после четвертого курса в Вышгороде примечательна не только тем разговором с К.А.Звонаревым. Члены нашей бригады заканчивали нивелирование 2-го класса без меня. Я оставался на базе, занимаясь вычислениями, подгонял камералку. Уже темнело, и они «привязались» не к реперу, а к какой-то трубе, торчавшей из земли. При вычислении обнаружилось, что результат не сходится, а доделывать не хотели. Сначала мне сказали, что что-то не вяжется, но потом успокоили меня, сказав, что все в порядке. Как потом выяснилось, уввы, поздно — они «подогнали» результат. Махинация случайно всплыла на зачете. Проговорился Генка Шарапов, которому девчонки тоже не сообщили о подгонке. В.Г. Зданович прогнал всех с зачета, а меня (наверное, как самого «сообразительного») счел инициатором подгонки. В Ленинград я ехал в очень подавленном настроении, не зная, что и как будет дальше. Приехавшие позже ребята сообщили, что практику В. Г. Зданович нам засчитал, но поставил всем тройки. Впрочем, бригадиру Р. Зерновой, кажется, четверку. После этого у меня не было случая объясниться со Здановичем, и я долгие годы без вины виноватый носил в себе досаду. Случай объясниться представился только в 66-м году, когда я

перешел работать во ВНИМИ. Он работал там по совместительству. И вот однажды я увидел выходящего из здания института Здановича. Я обратился к нему и объяснился, сказав, что все эти годы мне не давал покоя тот случай. К нам подошел Иосиф со словами, обращенными к Здановичу: «Ну, вы идете?» (Они жили тогда рядом, на Петроградской.) Тот ответил: «Да-да, иду», а мне сказал, что он давно все забыл. Позже, в 80-х годах, я рассказал обо всем этом Иосифу, на что он мне заметил, что Зданович наверняка об этом помнил, такие вещи он не забывал. В подтверждение привел пример аналогичного случая, когда чья-то подгонка всплыла только через год, и Зданович настоял на санкциях, хотя виновные были, кажется, уже близки к диплому.

Только сейчас, описывая этот случай, я установил, что вторая практика в Вышегороде была у нас не после третьего, как мне казалось и я прежде где-то писал, а после четвертого: учебные планы часто менялись. Я был уже женат. Помню, как рассказывал об этом досадном случае на кухне на Смоленской вашей маме, когда вернулся с той практики. Стало быть, это было в 1960 году, после четвертого курса. Практика пришлось почти на осень, во всяком случае, запомнилось тоскливое настроение, особенно после отъезда основной массы практикантов с младших курсов, когда мы, уже пятикурсники, остались одни.

Предстояла еще вторая, производственная, которую я проходил в городе Сибай, на рудном карьере. А перед ней еще были лагерные сборы под Ленинградом, кажет-

ся, в июле. Та практика запомнилась в основном плохой погодой (приближалась осень) и острым желанием и стремлением скорее попасть в Ленинград. Было не до вникания в работу. Из нее, как и из предыдущей, извлек мало, некому было разъяснить и в институте перед отъездом, и на месте, на что следовало обращать внимание. А впрочем, я сам был недостаточно любознательным. Не очень стремился постичь тайны маркшейдерского искусства на практике. Сейчас я знаю, что и как следовало делать, во что вникать.

О Боге в те годы не задумывался, до этого было еще далеко.



Письмо четырнадцатое.

Институтские товарищи

С мая 60-го года для меня началась другая жизнь — я женился. Может, поэтому последующие практики не оставили заметного следа в моей памяти. О Сибее я хоть что-то помню, а преддипломную, которую проходил где-то в Донбассе, забыл почти начисто, так что диплом писал по материалам практики на Урале. Но, чтобы закончить воспоминания о студенчестве, следует упомянуть кое-кого из товарищей по горному — «иных уж нет, а те далече».

До третьего курса ближе всех, особенно на первом курсе, сошлись мы с Ариком Фельгиным. О нем я уже рассказал, когда писал о поступлении в институт.

Так получилось, что с третьего курса и на долгие годы мы стали друзьями с Сергеем Павловым. Вначале, еще до вступительных экзаменов, на медицинском осмотре, куда Сергей пришел со своим одноклассником Толей Чернявским, он мне не понравился, показался «шпанистым» (каким, впрочем, и был, но постепенно изменялся, становился серьезнее, ответственнее). А поначалу я даже огорчился — вот, придется учиться вместе с не очень приятным парнем. Это первое впечатление довольно быстро прошло, и уже на первом курсе в процессе учебы отношения были нормальными. Сблизились

мы как-то незаметно (Арик к тому времени стал часто бывать в общежитии, и наши отношения с ним стали не столь близкими, как вначале.) На третьем курсе Сергей женился (с Женечкой мы познакомились чуть раньше, несколько раз проводили вместе праздники на 8-й Советской, где она жила). Из однокурсников, если мне не изменяет память, на свадьбе, состоявшейся без особого размаха на той же 8-й Советской, был только я. Не было даже школьного их товарища Толи Чернявского. Конечно, мы бывали друг у друга, но не так часто, как, скажем, в отрочестве я у Ильи или позже друг у друга с Громом. Это легко объяснимо: с Ильей мы жили в пяти минутах ходьбы один от другого, с Громом у нас было какое-то взаимное тяготение, а с Сергеем, когда он жил на 6-й, а затем на 8-й Советской, нас разделяла поездка на трамвае 12-го маршрута, которая занимала никак не меньше сорока пяти минут. Затем, когда Женечкины родители перебрались в трехкомнатную квартиру на улице Седого и выделили молодым комнату, на дорогу уходило не меньше часа. Я сейчас даже не помню, как я туда добирался. Помню лишь один забавный эпизод моего посещения их с Женечкой там. Мы договорились позаниматься вместе у них. На Седого условия для занятий были лучше. Я приехал, дверь открыла мне мама Женечки, Мария Семеновна, и на вопрос, дома ли Сергей, с гневом ответила, что он здесь не живет. Не помню, сказала ли: «Он здесь больше не живет». Они поссорились, и она указала ему на дверь. Она привыкла к послушанию детей, а Сергей проявил характер. Я был

очень раздосадован: обязательно надо было позаниматься, а потерял столько времени! Потом они, конечно, помирились. Я этот эпизод привел только потому, что он подтверждает мои посещения улицы Седого. Больше мне не за что зацепиться. А посещение Крестовского Сергеем и Женечкой помню — помню, как он сидел на стуле, спиной к правому окну, а Женечка нервничала, ей казалось, что наша дверь скрипит. К третьему курсу Сергей стал почти таким, каким оставался в дальнейшем: резко подтянулся в учебе (а то на первом курсе даже завалил во втором семестре физику), понял, что горный — это уже на всю жизнь. К распределению мы подошли одними из лучших, нас опережали лишь трое, получившие «красные» дипломы. Как он далек был от антисемитизма и вообще от национального вопроса, показывает его разговор с Марией Семеновной. До того он, простой парень из деревни, видимо, даже не знал о существовании «еврейского вопроса». Но жизнь научила. У нас в двух группах было человек 12 ленинградцев. При распределении было около 10 мест в Ленинграде, из них пять во ВНИМИ. Он, как само собой разумеющееся, сказал Марии Семеновне: «Марк, конечно, распределится во ВНИМИ». А Мария Семеновна, как в воду глядела, ответила, что вряд ли. В дальнейшем Сергей ближе познакомился с национальным вопросом, особенно, когда стал секретарем парткома ЛГИ.

Дружба с Сергеем была какой-то не такой, как с Громом. Не было той искренности в отношениях, как между мной и Громом. Не случайно же вы Грома называли

«дядя Гром», а Сергея по имени-отчеству. Интересно, что к Арику я тоже испытывал большее доверие. Сожалею, что наши пути рано разошлись. Сейчас на ум приходят некоторые примеры, объясняющие, откуда идет это чувство не полного доверия в отношениях с Сергеем.

Практика в Вышегороде после 4-го курса, когда он скрыл от меня, что сообщение о болезни его матери в телеграмме, посланной Женечкой, было ложным, чтобы досрочно вызвать Сергея с практики.

Письмо в Грехиху, в котором он звал меня работать в Ухту. Как я понимал, его не очень отпускали без замены, а он хотел уже вернуться в Ленинград. За этим как-то незримо, но вполне ощутимо я представлял Женечку.

В Омской области, на так называемой целине, после окончания первого курса и практики в Вышегороде, когда отношения были ровными и мы еще не выделяли друг друга среди остальных ребят, он проявил (даже не знаю, как назвать) пренебрежение остальными. Где-то неподалеку находилась с группой педагогического Женечка. Он отправился повидаться с ней. Чтобы это выглядело чуть приличней, нашелся повод: у Арика заболела спина, и его надо было показать врачу. До врача они, конечно, не дошли. Бескорыстие, которое невооруженным глазом всегда было видно у Грома и Лили, у Павловых отсутствовало. Думаю, что в этом проявлялось влияние Женечки. Возможно, мне так это все представляется теперь, с высоты прожитых лет и (или) последующих событий. Еще более охладились

наши отношения, когда он стал секретарем парткома ЛГИ. Не потеплели они и когда он был деканом факультета. Внешне, конечно, оставалось все хорошо — институтские друзья. Как я сейчас это понимаю, да и тогда чувствовал, все упиралось в то, что он не мог, точнее, не хотел помочь в решении двух вопросов. Это его, по-видимому, смущало, тяготило. Первый — перед отъездом в Афганистан не попытался содействовать моему переходу на кафедру, а позже, когда он был уже вторым человеком в ЛГИ, — назначению Инночки Финаревской на должность старшего преподавателя. Я, специально зайдя к нему в кабинет в парткоме, просил об этом. Излишне говорить, что и она, и я вполне соответствовали должностям, на которые претендовали. По всей видимости, он не решился мне откровенно сказать, что в первом случае препятствием является моя анкета, а во втором — его нежелание говорить об этом с ректором Проскуряковым. Полагаю, что его откровенность только бы укрепила наши отношения, тогда как отсутствие оной, то есть проявление не полного доверия, развели нас еще дальше. Наша дружба была ему просто, мягко выражаясь, ни к чему, а возможно, тогда уже и обременяла.

Для полноты картины расскажу еще о некоторых товарищах по институту.

Темин Арнольд Миронович. Я на него обратил внимание еще при сдаче вступительных экзаменов. Ниже среднего роста, худощавый, с характерной семитской внешностью. Помню, как перекинулся с ним парой слов

перед входом в коридор первого этажа института. Он «успокаивал» меня, что я поступлю. Кажется, у меня было уже 17 баллов и предстоял экзамен по математике, в результате которого я не очень сомневался. В разговоре с товарищами, когда он не волновался, было незаметно, что он заикается. В дальнейшем мы попали в одну группу. Потом оказалось, что его отец работает в горном, но на непрестижной «должности»: он продавал газированную воду и пирожки в переходе второго этажа. Адик, как Арнольд просил себя называть, отца стеснялся и всегда пробегал мимо. Студенты же его уважали, часто с ним разговаривали. Мы с Павловым нередко покупали у него пирожки с повидлом. Он знал все обо всех и обо всем. О ком-то рассказывал, что его диссертация была посвящена гаревой дорожке. Он был крупнее сына, внешне похож на израильского политика Шимона Переса.

А еще позже, уже после четвертого курса, я по совету Арнольда поехал на вторую производственную практику на рудный карьер в город Сибай. Это было вскоре после моей женитьбы, когда мне было не до практики. Я все время рвался домой. Стремясь распределиться в Ленинград, он после четвертого курса взял академический отпуск (не знаю, как ему это удалось) и окончил на год позже нас. На том курсе училось очень мало ленинградцев, и шансы остаться в Ленинграде были велики. На встрече выпускников в 1976 году от Тамары Копыловской я узнал, что он уже в США.

Колоритной фигурой был Наум Владимирович Котон. Высокий, статный, он сразу обращал на себя внимание. Жгучий брюнет, нос орлиный, глаза-щелки закрыты нависающим не очень большим лбом. Мощный чуб после 2-го курса заменил очень короткой стрижкой. В памяти с первого курса сохранилось, как Генка Шаратов, обращаясь к нему, сказал: «Эй, Клюв, дай содрать!» На первой практике в Вышегороде его не было — ему закли практику, пройденную в техникуме. Хотя Мешкова, тоже окончившая техникум, на первой практике была. А на второй, учебной, в Сланцах Наум запомнился быстротой работы с инструментом. Работавших с ним в одной бригаде он учил этой быстроте, говорил: «Посмотрел в окуляр — сразу бери отсчет. Оттого, что долго смотришь, отсчет не изменится». Имел он первый разряд по шахматам, но как-то не очень проявлял себя на этом поприще. Его мать как будто была геодезисткой, поэтому, имея связи в том мире, обеспечила ему распределение в «Гипрохим». На встрече выпускников, кажется в 1976, году и тоже от Копыловской, ставшей к тому времени Белкиной, узнал, что и он давно в Израиле.

Всегда тепло вспоминаю Воронкевича, наверное, потому, что чувствовал его ко мне уважительное отношение. Но все же не только поэтому — Вадим был порядочным человеком. Он ценил меня, по всей вероятности, по школьной привычке за успеваемость. Эта школьная оценочная шкала прочно засела в нашем сознании. Анатолий Жменя на том нашем сборе в 1976-м тоже отозвался об аспирантах и кандидатах из нашего

выпуска не вполне уважительно: «Все это ерунда, вот только Марк, тот да». Примерно так же высказался и Вадим, кажется, это было на поминках отца Арика.

Учился он неважно. Потом, как-то раз, не помню, по какому случаю, он разоткровенничался, говорил, что был красивым мальчиком с длинными ресницами, в начальных классах учился очень хорошо. Но потом учеба его занимала мало, и он скатился на удовлетворительные успехи. По инерции и в институте мало занимался и с теми же результатами. Любил и умел подраться: имел 2-й разряд по боксу. Был «коллективным» товарищем. В том же откровенном разговоре выяснилось, что у нас были общие знакомые: двоюродные братья, два Марка Дроздника. С младшим я был вместе в лагере после 9-го класса, а старший навещал там младшего. Вадим дружил с младшим и, как сам говорил, «не раз за него дрался». Дрался, когда того притесняли, обзывали, дразнили антисемиты. Не будучи виноватым, он чувствовал некоторую неловкость за то, что его, а не меня распределили во ВНИМИ. О распределении расскажу позже.

Во ВНИМИ он проработал не очень долго, но, когда в 1966 году я туда пришел, он еще был там. Получается, пять лет. Но вскоре ушел на производство, и мы стали встречаться редко. Одна из последних встреч произошла на уже названных поминках отца Арика Моисея Залмановича. Вадим к тому времени стал квадратным, говорил, что это все от обильного употребления пива. Умер он неожиданно, как и Арик, не дожив и до пяти-

десяти лет. В траурном зале крематория я отметил порядочность Вадима, что уже в те времена становилось редкостью.

Долго думал, надо ли писать о трех следующих сокурсниках моих, но решил, что вырезать всегда успею. Итак, Гена Головин, впоследствии превратившийся в Геннадия Андреевича, преподавателя кафедры геодезии, которого Жека должен знать, хотя бы визуально. Крупный, молчаливый, физически сильный, но никогда не злоупотреблявший этим, с большой ладонью-лапой (при рукопожатии его ладонь как бы обволакивала твою), играл за сборную команду института по волейболу. Учился весьма средне. При этом я понимаю, что успехи в учебе, как в вузе, так и особенно в школе, далеко не всегда определяют характеристику человека. Правда, для занявшихся в дальнейшем преподаванием или пробующим себя в научно-исследовательском институте эти успехи во многом определяют пригодность для избранного пути.

Работая на изысканиях, я, разумеется, ни с кем из школьных и институтских соучеников не мог встретиться. Но в начале 66-го года я был призван по линии Минобороны на трехнедельные курсы по переподготовке. Там я встретил Гену Головина. Он сказал мне, что у него назначена встреча с В. Г. Здановичем по поводу устройства на работу в горный, а идти во ВНИМИ в отдел приборостроения он отказался. Я сразу связался с Иосифом, с которым завязались отношения после встречи на конференции по аэрометодам в 1965 году. Через пару дней тот устроил мне встречу с В. Н. Лав-

ровым, который и принял меня на работу в лабораторию оптико-механических приборов. Позже, работая по совместительству в горном, в его коридорах я иногда встречал Гену.

Если иметь в виду основное направление моих записок, то уже написано много лишнего, но если считать эти записки в какой-то мере мемуарами (ох, громко сказано!), то для полноты картины можно продолжать. Итак, Жора Титов (Георгий Петрович). Высокий, спортсмен, увлекался горными лыжами, что по тем временам случалось не так часто. Красавчик, спортивный, нравившийся всем девчонкам не только нашего факультета и курса, лицом он мне чем-то напоминал певца Юрия Гуляева. Первое, очень непродолжительное, время «дружил» с Галкой Грязновой, потом надолго переключился на Вику Радайкину. Учился между «плохо» и «очень плохо». После окончания работал на Кольском, с восторгом произносил: «Снежное безмолвие».

Эдик Савицкий. Весьма своеобразный. Ни с кем особенно не сходилась. На последнем курсе института он как-то зашел на Смоленскую, когда меня не было, и бестактно прождал часов до одиннадцати вечера. Возможно, пытался сблизиться, но я был тогда молодоженом, и мне было не до него.



Письмо пятнадцатое.

Женитьба, работа

До окончания института было еще распределение, но этому предшествовали не только женитьба, но ещё и лагерные сборы, вторая производственная (Сибай) и преддипломная практики. О практике в Сибайе я уже писал. Преддипломную помню плохо. Это было в Донбассе, зимой или почти зимой. Была плохая спецовка, в шахте я мерз, почему-то засаленного ватника, надеваемого на спецовку, мне не дали. Может, следовало попросить, а я стеснялся? Главный поручил меня участковому маркшейдеру, которого я много позже, в 70-х, узнал среди проходивших курсы повышения квалификации, на которых я уже несколько лет преподавал в горном. Мне показалось, что он меня узнал тоже, но мы не признались.

Женился я несколько неожиданно. То есть на четвертом курсе как-то всерьез над этим еще не задумывался, но нас с вашей мамой подтолкнули обстоятельства. Их дом собирались сносить, и предстояло получить другую жилплощадь. Мы решили ускорить это дело (женитьбу, а не получение жилья), чтобы я прописался к ним на Смоленскую и при получении жилья и мы с мамой что-то получили. Бабушка еще была здорова, и мы с мамой могли рассчитывать на отдельную однокомнатную

квартиру. О конкретном получении еще речи не было. Я к тому времени был еще недостаточно самостоятельным, тогда как мама уже не только работала, но успела пожить отдельно и вдали от родителей. Это сказалось и на наших дальнейших отношениях, а впрочем, большее значение, видимо, имел мой характер ведомого, а не лидера. С годами такое положение стало заметнее.

Пятого мая 1960 года мы зарегистрировались. Несколько месяцев мы снимали комнату на Смоленской, в соседнем с мамиными родителями доме. Это было удобно — мама была освобождена от необходимости готовить.

Вскоре после завершения четвертого курса я сначала на месяц уехал в лагерь на военные сборы, а затем на два месяца на вторую производственную практику на рудный карьер в город Сибай. В одном из предыдущих писем (тринадцатом) я уже писал, что ничего из той практики путного не вынес.

Предшествовавшие практике лагерные сборы (июль) прошли, как детская игра: вокруг все свои, родной коллектив. Помню пилотку поперек головы на Савельеве, игру в футбол в «керзачах» (перед глазами Вадим Воронкевич в этих самых сапогах на футбольном поле), самоволку Титова в тренировочном костюме, стояние под проливным дождем на плацу (опасался простуды, но никого ничто не брало).

Возвращался из Сибая с бородой (см. фотографию), которую сразу сбрил — маме не понравилось. Мама встречала меня на вокзале (кажется, на Варшавском),

была так хороша (коричневое демисезонное пальто, серый берет), что я подумал: «Неужели это моя жена?»»

Пятый курс пролетел незаметно. После преддипломной практики было распределение.

В дальнейшем дело со сносом дома затянулось, и новое жилье мы получали уже на пятерых. К тому времени родился Веня, а еще до того бабушка перенесла инсульт, и мы не могли уже отделиться, а соединиться с Надеждой, как та предлагала, Анна Константиновна не захотела.

Распределение оставило заметную занозу в моем сознании. Кроме двух иногородних ребят, получивших красные дипломы (венгр Карой Пикли не в счет), мы с Павловым из ленинградцев шли в самом начале распределявшихся. Он давно выбрал Ухту. Было пять мест во ВНИМИ и два-три в проектные организации. Однако к моменту моего распределения мест в Ленинграде уже не оказалось. Меня распределили в город Сланцы, но оттуда вскоре пришел отказ от специалистов, и я получил «свободный» диплом. Справедливости ради следует признать, что пять лет, которые я проработал на производстве в проектных организациях, пошли мне на пользу. Я многое постиг, добрал то, чего не сумел взять, проходя практику во время учебы, и имел уже свое мнение по многим производственным вопросам.

Помыкавшись по различным организациям, так как еще не было связей в мире геодезистов и топографов, по наводке и рекомендации Мони Маркова в августе 1961 года я был принят на должность инженера в отдел

изысканий Госгорхимпроекта. Началась моя трудовая жизнь.

Первая командировка «в поле» в Казахстан (станция Тамды) была не очень продолжительной: месяца два с половиной. К ноябрьским праздникам были уже дома.

Здесь обязательно следует отметить необычность не только имени, но и личности моего первого и единственного наставника на производстве Алфея Караваева. В дальнейшей своей работе на изысканиях, вплоть до ВНИМИ, я обходился без руководства. Тогда ему было лет пятьдесят, может, чуть больше. Как специалист, он был знающим, с хорошими практическими навыками. Высшего образования у него не было, и потому он получал всего 135, а не 150, что следовало старшему инженеру по штатному расписанию. Тогда называли это вычитание (10 %) «за серость». Он присматривал за работой новичка, так как начальник партии Болотов (имя его я запомнил) не был ни геодезистом, ни топографом. Направляя меня в первую командировку, главный специалист отдела Анатолий Наумович Юдин сказал: «Там будет Караваев», имея в виду, что мне будет к кому обратиться с возможными вопросами. Тогда я не понимал его озабоченности моими первыми шагами, считая себя вполне подготовленным. А он беспокоился, чтобы я не остался без наставника. Караваев умело руководил моей работой и щедро поощрял лестными отзывами.

Наша изыскательская партия была немногочисленна: топографическую группу составляли мы с Караваевым

и пожилой техник-топограф с женой и дочкой в качестве рабочих. Я в работе стремился быть не хуже этого опытного практика. В геологическую группу входили две женщины. Рабочих для рытья шурфов, ручного бурения разведывательных скважин и еще троих в помощь мне и Караваеву Болотов нанял из местных жителей.

Необычность Караваева заключалась в том, что он не пил. Для тех, кто знаком с бытом изыскательских и геологических экспедиций и партий, это покажется чем-то из ряда вон выходящим. О пьянстве «в поле» ходили легенды. Так вот, Караваев не пил. На тот сезон пришлось пятидесятилетие начальника партии Болотова. Не скажу, что «дым стоял коромыслом», но юбилей отметили. Караваев же исчез, как мне пояснил Болотов, «от греха подальше»: ему нельзя, он бросил, даже глотка пива нельзя. Я не очень четко представлял, что тому, кто когда-то пил, трудно устоять и надо избегать соблазна. На следующее утро Караваев мне рассказал, что он был пропащим человеком. Что прежде руководил большой экспедицией, но постепенно скатился до начальника маленькой топографической партии, а сейчас всего лишь старший инженер. «Ты не представляешь, каким я был, — говорил он. — С утра, уже изрядно выпив, я шел на работу, имея за пазухой еще «маленькую». Вот уже два с половиной года, как Бог спас меня». Я удивился силе его воли, ибо это был единственный подобный случай, известный мне. Он говорил, что силу ему дал Бог, Который может все. Когда я его спрашивал, почему же он избегает компаний,

застолій, имея такую силу, он говорил, что не следует искушать Бога. Я, конечно, не понимал, что значит «не искушать Бога», и смотрел на Караваева, как все мы «продвинутые» атеисты, смотрели на верующих. Караваев свою веру не выставлял напоказ, в то время это, мягко говоря, было «не модно». Он поделился только со мной, а я был молод и числился как бы его подшефным. К какой конфессии он принадлежал, я не знаю, да тогда и не интересовался. Для меня все верующие были, мягко говоря, неадекватными. Сейчас полагаю, что он не был православным, так как они в большинстве своем религиозики и не верят в живого Бога, Который может освободить от алкогольной зависимости.

Мою профпригодность (занимался я созданием рабочего обоснования и съемкой отдельных участков в масштабе 1: 500) старший инженер Алфей Караваев оценил высоко, о чем и сообщил приехавшему на приемку главному специалисту отдела Анатолию Наумовичу Юдину, с которым мы через 10 — 12 лет уже на равных встретились в Толмачево на базе ЛИИЖТа.

Успешно начатая моя трудовая деятельность была вскоре неожиданно прервана: отдел изысканий был распущен. На филиал, каким являлось Ленинградское отделение, не хватило финансов. С Алфеем Васильевичем я больше не встречался.

В декабре 1961 года я поступил в Гипронометруд. В отличие от Госгорхимпроекта, где полевые работы проводились только в летний период, а зимой велась камеральная обработка полевых материалов, в новой

организации сотрудники делились на полевиков, работавших в поле в течение всего года с краткими перерывами между командировками для составления отчета о проделанной работе, и камеральщиков, постоянно находившихся в отделе. Это меня не устраивало. И, съездив в одну командировку в зимний период 62-го года в Свердловск, где часто навещал семью Нели Раик (она была уже Вайман, а Роме было года три), уволился.

В ноябре я оказался в отделе изысканий в/ч 54034. Там я проработал три с половиной года, побывал на северном побережье Кольского залива и упрочил свои производственные навыки. В отделе я выделялся: основная масса сотрудников топографо-геодезического отдела не имела не только высшего образования, но даже техникума. Их образование ограничивалось трехмесячными курсами топографов. Да и общая, и теоретическая подготовка главного геодезиста оказалась не на высоте.

Первая командировка в в/ч пришлось на весну 1963-го в Эстонию, с марта, когда еще не сошел снег, и по апрель, затем, ближе к лету, в город Североморск, где я примерно месяц маялся от безделья в ожидании специального пропуска на запретную территорию. Североморск был тоже «закрытым» городом, но, видимо, не того уровня. Наконец, пришел пропуск, и я попал на 93-й километр. Предстояло трассировать дорогу для транспортировки особых «изделий» (так назывались ракеты). Дорога должна была пройти по территории бывших ожесточенных боев, где, возможно, сохранились мины. В мою задачу входило определять направление

будущей трассы, а для поиска возможных мин и снарядов был выделен взвод солдат с миноискателями под командованием моего сверстника, бывшего суворовца, а тогда лейтенанта. Ничего существенного мы не обнаружили. Возможно, плохо искали или в той узкой полосе уже ничего не осталось от прежних дней. На базе поговаривали о взрывах мин и неразорвавшихся снарядов, уцелевших от войны. Теперь я понимаю, что просто был храним Богом. Потом я занимался уже непосредственно прокладкой трассы: пикетаж, разбивка углов и кривых, нивелировка, но уже в другом месте, среди каменистых сопок.

Непосредственным моим руководителем, в отличие от Караваева, доверявшим мне во всех производственных вопросах и дававшим мне полную свободу в выполнении заданий, которые он передо мной ставил, был Сергей Александрович Полозов. О нем я уже писал, вспоминая преподавателя горного института Михлина. Как и Караваев, о котором я уже тоже писал (тот опекал меня в первой производственной командировке в Казахстане), он был практик, но по общему уровню и знаниям превосходил основную массу топографов — бывших солдат, прошедших краткосрочные курсы. В войсковой части, в отличие от гражданских организаций, 10 % «за серость» не снимали. За плечами имел суровую школу: как сын священнослужителя (отец был дьячком), прошел лагерь, но не ожесточился, сохранил не только чувство юмора, но и порядочность. О Боге никогда не говорил, да и о лагере лишь один раз прорвалось.

Весной (выехали в самом начале мая) 1964 года объектом была Гремиха. Девятого мая все было еще покрыто льдом и занесено снегом, но на рекогносцировку, проваливаясь по колено в снег, все же ходили. Рекогносцировка мало что давала: когда в июне снег сошел, все выглядело совсем иначе. Тогда приступили к полевым работам: я создавал рабочее обоснование, топографы занимались съемкой. В качестве рабочих, как и в предыдущих командировках в Эстонию и на 93-м километре дороги Мурманск — Североморск, использовались солдаты ВСО (военно-строительные отряды), в основном южане — узбеки, киргизы. (В Эстонии были азербайджанцы.) Участок представлял собой тундру, иногда каменистую, а местами болотистую, с морем незрелой еще, красно-зеленой морошки. Мои рабочие, в основном плохо говорившие по-русски узбеки, их было всего несколько человек, из которых два постепенно стали при мне как бы постоянными, ее прежде не видели, и я во время переходов делал остановки минут на десять, чтобы они полакомились ею. Ближе к августу морошка созрела, стала желтой и сладкой, но они уже собирали ее без прежней охоты.

На примере этих двух узбеков я познакомился с отношением к евреям народов Средней Азии. Я плохо представлял состояние этого вопроса среди тех народов. Я полагал, что для них все представители не их племени являются русскими, среди которых имеются всякие, хорошие и плохие. Не знал, что, поскольку евреи проживают везде, то их и всюду выделяют из прочих представите-

лей некоренной национальности. Разговаривая с этими рабочими, я познакомился с их негативным отношением к евреям, притом априори. Один из них евреев даже не видел и был очень удивлен, что такие хорошие люди, как начальник геологической партии и я, евреи. Когда он узнал об этом, то был весьма озадачен и задумался.

На работе в поле я чувствовал себя уверенно. Начальник партии майор Кононов отмечал быстроту и качество моей работы. «Мне бы, Марк, твое образование, я бы уже был генералом», — сказал он как-то.

1965 год, Крым. Удручало отсутствие коэффициента к зарплате, который полагался на Севере. Но работа нравилась: имея в подчинении техника (двух рабочих нанял на месте), самостоятельно развивал местную триангуляцию. Командировка завершилась неожиданно: с начальником партии, тоже майором, который на своей «Волге» вез нас с техником из Феодосии на другой объект в Балаклаву, мы попали в автомобильную аварию. Майор через 20 минут после столкновения с КамАЗом, не приходя в сознание, скончался. Сидевший рядом с ведущим машину майором гаишник выжил, но остался на всю жизнь калекой. Мы с техником, сидевшие на заднем сидении, отделались сотрясением мозга: две недели в местной больнице и месяц на больничном дома, в Ленинграде.

Тогда я не догадывался, да и придя к Богу, не сразу понял, что это Он хранил меня, вел намеченным путем, чтобы спустя 30 лет я мог здесь, в Германии, через еврейский журнал распространять весть о Нем среди

избранного народа. Оказывается, оберегающая рука любящего Отца хранила меня всегда. Так было и в Ткварчели, когда я уже работал во ВНИМИ. В 1969 году мы испытывали нивелир на шахте у главного маркшейдера Мамии Ильича Порчхидзе. В наклонной выработке сорвалась многотонная вагонетка, были жертвы, но нас с Соловьевым она миновала. Мы оцепенели от ужаса, представляя, что могли оказаться среди жертв. Посчитали это чудом, да это и было настоящее чудо, но сотворил его Бог. Он продолжал вести меня по пути к вере.

Однако в воинской части продвижения по службе не было (пятипроцентная надбавка после трех лет работы «за выслугу лет» не в счет), и зарплата была низкой. Последнее обстоятельство несколько смягчалось тем, что на Кольском, кроме командировочных, действовал коэффициент «1,5» к основной зарплате. Да и командировки по полгода вне дома меня тяготили. Я все время стремился изменить положение, и это мне удалось: с помощью Финаревского я перешел во ВНИМИ, сначала на должность исполняющего обязанности младшего научного сотрудника с максимальным по штатному расписанию окладом в 120 рублей. О том, как это произошло, я уже писал. Начался новый этап моей трудовой деятельности, который объемлет 26 лет.



Письмо шестнадцатое. ВНИМИ

СВНИМИ связан основной период моей «трудовой биографии»: здесь написана первая статья, открывшая так называемый «список научных трудов». Работая во ВНИМИ, я испытал много радостных минут, хотя бывали и огорчения. Оформили меня младшим научным сотрудником с окладом 120 рублей.

На новом месте меня приняли хорошо, было много знакомых, с которыми я учился, а также окончивших ЛГИ раньше. Среди сотрудников ВНИМИ было много евреев, и антисемитизма не ощущалось. Заметное число евреев было особенно в нашем отделе.

Мне повезло с начальником, в дальнейшем эта должность стала называться «заведующий отделом». Вы с ним знакомы не только по моим рассказам. Григорий Кириллович Бесчасный, через несколько лет после моего появления получивший в узком кругу совместно с ним работающих «псевдоним» Кеша, происходил из провинции, окончил не столичный институт и, кажется, вечернее или заочное отделение и не очень уверенно чувствовал себя в вопросах собственно маркшейдерского дела. Вот тут мне пригодились те пять лет, проведенные на изысканиях: я чувствовал себя уверенно. Он быстро почувствовал и оценил мою уверенность в этой

области, как и мою общую и теоретическую подготовку. Почти сразу я стал работать под непосредственным его руководством, с ним в тандеме. Поэтому я легко вошел в коллектив. Мы составляли как бы обособленную группу, никто в наши дела не вмешивался. Раз-два в году случались командировки недели на две-три для испытаний образцов приборов и в составе других групп. Сравнительно быстро, благодаря счастливой случайности, я получил должность старшего научного сотрудника. Оклад увеличился всего на 10 рублей, но это оказалось весьма важным в дальнейшем, когда институт перешел в разряд предприятий первой категории. Тогда минимальный оклад старшего научного сотрудника составил уже 145 рублей.

В 1968 году я поступил в заочную аспирантуру ВНИМИ. Годом раньше меня не взяли в аспирантуру в горный, даже не допустили к вступительным экзаменам. Много позже Финаревский сказал по этому поводу, что так не делают, надо предварительно договориться с будущим руководителем. Моим руководителем в аспирантуре стал Бесчасный, чем и он был доволен. До этого он не имел специального разрешения руководить аспирантами, без которого это могли делать только доктора наук. Получив такое разрешение, он как бы стал на ступеньку выше. Ну и дополнительное материальное вознаграждение, а к деньгам он не был равнодушным, впрочем, как большинство, если не все. В дальнейшем его руководство ограничивалось просмотром и одобрением написанного черновика диссертации. Я согласовал

с ним примерную структуру работы, но не помню, чтобы обсуждал с ним конкретно содержание отдельных глав. А структура работы была обычной, как и в некоторых диссертациях по нашему направлению, которые я предварительно просмотрел. Он не вникал и не вмешивался в мою работу, не помогал, но и не мешал. Очень важно было то, что тема диссертации соответствовала тематике лаборатории, а работа находилась в русле ее исследований. Потому шеф не обращал внимания, когда я занимался на рабочем месте своими диссертационными делами. Конечно, и он это отлично понимал, они не были в ущерб общей работе. Как аспирант, я получил дополнительный оплачиваемый отпуск, что позволило почти полностью решить проблему с летними каникулами для вас. В течение многих лет по месяцу проводил с кем-нибудь из вас (а то и с двумя) в Толмачево, а в период аспирантства сюда прибавлялся Вышегород. Примерно в 1972 году я закончил оформление диссертации, но ушло еще два с половиной года на устранение замечаний, полученных от неофициальных оппонентов, от зама по научной части ВНИМИ и на улаживание организационных вопросов. Предварительная защита состоялась весной 1975 года, а в октябре того же года защита на Ученом Совете ЛГИ.

Почти год терпеливо и со страхом ждал утверждения решения Совета о присуждении ученой степени. Обычно на утверждение уходило до полугода, у везунчиков — до трех месяцев. Будучи в командировке в Москве, зашел в ВАК. «Вам давно послали утверждение» — как-то

буднично сказала не запомнившаяся сотрудница одного из отделов, к которому относилось наше направление. Она не представляла, что ее фраза делала осмысленной весь прошедший период моей работы и снимала с меня огромную тяжесть. Впрочем, для нее то было рутинной работой. Ей не было дела до того, что за диссертацией стоят не только несколько лет упорной работы, но с ней связаны огромные надежды на будущее. Оказалось, что моя диссертация проходила проверку у так называемого «черного оппонента», что делалось, вообще говоря, не так часто. Материально стало легче.

О Боге тогда не думал. Как курьез и просто глупость воспринял дошедшую до меня информацию о том, что В. А. Сеницыну не дали Государственную (тогда еще Сталинскую) премию, точнее, еще на этапе подачи документов вычеркнули из списков, хотя он был основным разработчиком, из-за того, что скрыл, что отец его был дьячком, или дьяконом, а может, попом, не уточнял, меня это как-то не интересовало. Вообще, в те времена я не встречал верующих, а служителей культа в глаза не видел. На осенявших себя крестным знаменем старушек, когда в трамвае проезжали мимо уцелевших соборов, смотрел, как на остатки чего-то древнего: мол, темнота. После смерти деда и в нашей среде, среди евреев, собиравшихся на традиционные еврейские праздники, не встречал верующих иудеев.

До синагоги в тот раз, когда мы ушли с занятий в институте, о чем я уже писал, помнится, так и не дошли. Попал я туда много позже, во времена перестройки, когда

ощущался какой-то национальный подъем, внутреннее воодушевление. Начался массовый выезд евреев за границу, в основном по израильской визе. Пели в синагоге приехавшие из-за рубежа канторы. Но богослужением и не пахло. Канторы имели консерваторское образование, некоторые были выходцами из СССР. Помню, что среди понравившихся всем прекрасных канторских мелодий прозвучала показавшаяся мне диссонансом песня «Купите бублики», исполненная израильским кантором, окончившим Одесскую консерваторию. Пел он, правда, как и трое других, превосходно.

О самой работе, радостях и огорчениях, с ней связанных, писать не буду — это тема другой книги. О некоторых сотрудниках, с которыми сталкивался, расскажу.

С первых же дней работы во ВНИМИ стал встречаться с однокурсниками, которые приветливо встретили меня: Вадим Воронкевич, Арик Фельгин, Джон Кораблев, Зоя Головина (Десятникова). В нашей лаборатории работали Ольга Рождественская и окончившая институт на год позже нас Тамара Сорокина. С Ольгой чуть ли не в первый день проговорили почти полдня. Запомнил ее фразу, вселившую в меня надежду: «У тебя что-нибудь получится». Она в то время переходила в патентный отдел, чувствовала себя очень уверенно, даже самоуверенно, впрочем, как всегда. Позже появился во ВНИМИ задержавшийся, правда, всего на год-два Сергей Павлов. Он быстро самоутвердился, так как в отличие от меня у него не было комплекса, характерного для большинства евреев. Но,

несмотря на радужные перспективы, он вскоре ушел на кафедру маркшейдерского дела в ЛГИ. Помню, как он советовался со мной относительно целесообразности такого перехода. Вопрос был серьезный. С моим стремлением к преподавательской работе я высказал свое мнение за переход, хотя предупредил, что в таких вопросах советовать трудно, и не очень настаивал. Еще позже поступил в лабораторию охраны недр староста нашей группы Женя Лабутин. Кроме Павлова, ни с кем дружбы семьями не возникло, даже с Ариком, хотя я сделал попытку. Впрочем, тогда он после ранней смерти жены был холост. Ближе всех из новых сотрудников я сошелся с Соловьевым, что объясняется возрастом (мы сверстники) и в дальнейшем совместной работой. С удовольствием ездили в командировки, часто вдвоем. Он был неизменным соавтором наших авторских свидетельств.

Из старшего поколения колоритной фигурой был Наум Яковлевич Крупп, сначала не понравившийся мне своей манерой разговаривать, которая меня на первых порах коробила, но очень быстро все встало на свои места. Крупный специалист в области оптических приборов, автор нескольких монографий, он был «контужен» волной борьбы с безродными космополитами: в 49-м году его, подготовившего к тому времени диссертацию, уволили с ведущего в стране оптико-механического предприятия ЛОМО. Его «контузия» проявлялась в том, что он усиленно, где в этом не было необходимости, подчеркивал отсутствие в

стране антисемитизма и, будучи на голову выше многих кандидатов, не стремился к защите, вернее, готовил диссертацию только на словах. Возможно, опасался получить очередной удар судьбы. Сейчас я думаю, что дело было и в том, что ему с его уровнем просто неловко было обзаводиться научным руководителем, что двигало бы дело с оформлением диссертации вперед. В этом вопросе его обошел работавший в руководимой им группе даже такой скромник, как Иосиф Пивник. С Круппом я мог быть вполне откровенным.

Примечательной личностью представлялся Василий Васильевич Смирнов, тоже превосходивший по уровню многих кандидатов. Соученик Круппа по ЛИТМО, он на 20 лет попал в сталинские лагеря, когда, будучи на производственной практике, где к тому времени (1937 год) обнаружили среди инженеров «врагов народа», заодно «замели» и пару студентов-практикантов. Оправиться от удара он уже не смог. Руководил дипломным проектом Соловьева, которому дал тему по разработанному им стереодальномеру. Как будто работал над диссертацией, но, как и Крупп, не мог чего-то в себе преодолеть, какой-то внутренней неуверенности. Ему тоже в его 60 лет, когда уже поздно защищать и докторскую, неловко было обращаться за научным руководством, даже формальным, скажем, к сорокалетнему Бесчасному. По разработанному В. В. Смирновым стереодальномеру защитил диссертацию в горном аспиранте Н. А. Гусева Мартынов, не имевший к разработке никакого отношения.

Можно было бы написать еще о многих, кого вы поверхностно знали в детстве (Миронович, Шабак, Мяги), но это уже далеко выходит за пределы, определяемые основным замыслом моих писем к вам. О том, что вас заинтересует, пока есть возможность спросить.

Мою работу во ВНИМИ можно разбить на две части: до и после защиты. До защиты (здесь дело не в моей защите, а во времени: примерно до середины 70-х) лаборатория была на подъеме, разработанные нами нивелиры опережали уровень зарубежных приборов. Но именно разработки, а производства их, даже небольшими партиями, не говоря уже о серийном производстве, не велось. Нашей вины в том не было, такова была система: заводам нецелесообразно было переходить на новые модели, невыгодно. Мы получали авторские свидетельства, нас награждали медалями ВДНХ, но дальше дело не шло. Особенно переживал отсутствие выхода наших работ, или, как он называл это, «работу на полку», Виктор Михайлович. Разработка новых моделей приборов была интересной: свежие мысли, исследования, постепенно оттачивался стиль написания научных статей по результатам испытаний. Испытывать образцы приборов мы ездили в командировки на шахты в различные районы страны. О происшествии в Грузии на шахте в Ткварчели, в котором Господь сохранил меня, я уже писал в предыдущем письме. Сейчас, когда думаю об этом и слышу по радио о многочисленных несчастных случаях на шахтах Украины, России, Китая, физически ощущаю

пронесшуюся мимо опасность, понимаю, Кому обязан своим спасением и не устаю благодарить Хранящего.

Так совпало, что после моей защиты разработки оптико-механических теодолитов и угломеров, к которым перешла лаборатория, были, мягко говоря, не вполне современными. На Западе обычные угломерные оптико-механические приборы уступили место приборам электронно-вычислительным. На производстве уже использовались электронные тахеометры. Во ВНИМИ шли разработки таких приборов, но отсутствие элементной базы определяло наше отставание от зарубежных фирм. Страна, и мы в том числе, отставала в области электроники. Стагнация, характерная для всей страны, постепенно утвердилась и в нашей лаборатории. На нивелирах это не сказывалось, так как рейки и отсчеты по ним заменить современными средствами не удавалось, да не удалось и до сих пор. Лаборатория медленно загнивала, что по времени совпало с уходом заведующего. В начале 80-х годов его «ушли», что усугубило положение дел в лаборатории, поскольку он определял ее направление, был генератором идей и выбирал темы исследований и разработок. Но это уже другая история. Однако я, кажется, отвлекся, начав углубляться в производственные вопросы.

К тому времени я уже не только преподавал почасовиком в ЛИИЖТе, но и на различных курсах по повышению квалификации инженеров (ЛИИЖТ, горный, ПО «Эстонсланец»). Со второй половины 80-х официально получил четверть ставки доцента

на специализированной кафедре маркшейдерского факультета, организованной при ВНИМИ, но с представлением в ВАК для присвоения звания и получения аттестата доцента кафедра тянула. Так и уехал, не дождавшись.

Как уже писал, в начале 80-х ближе сошелся с Финеревским, стали бывать друг у друга дома, регулярно встречались у него в кабинете за чаем в обеденный перерыв.

В 86-м году новый заместитель директора института по научной части Жариков Е. Д. назначил меня заведующим лабораторией метрологии и стандартизации, что избавило меня от работы в лаборатории оптико-механических приборов при ее развале.

Дальнейшее промелькнуло очень быстро, не оставив на своем пути верстовых столбов, разве что Международный маркшейдерский конгресс, проходивший летом 1988 года. Конгресс был организован с большой помпой, руководство добилось соответствующего постановления правительства, для участия приехало много иностранных делегаций, демонстрировавших свои достижения, в том числе и в приборостроении. Пленарные заседания проходили в Таврическом дворце. На Конгрессе в помещении «ЭКСПО-88» на Васильевском острове была организована обширная выставка приборов, разработанных ВНИМИ, отечественными предприятиями и зарубежными фирмами. Курировать обеспечение экспозиции приборов ВНИМИ Жариков поручил мне. Из-за выставки удалось услышать лишь малую

часть докладов. Тогда же Ольга Рождественская собрала некоторых наших выпускников у себя, среди которых был приехавший на Конгресс из Венгрии Карой Пикли.



Письмо семнадцатое.

Эмиграция

Уехали мы в Германию случайно (если в мире вообще что-нибудь происходит случайно). Точнее, неожиданно, во всяком случае, для меня. Я никогда никуда не собирался, и дело тут не только в смешанном браке: привычка к холуйской жизни, все предрешено системой. Да и мама никогда об этом не говорила. На отъезжавших в Израиль, Штаты или Канаду смотрел без восторга — они осложняют положение остающихся. Совершенно не представлял себе жизнь на Западе. Думал: здесь мы всю жизнь работали, чего-то добились, а там? Кому мы нужны? Как с жильем, с куском хлеба, с работой? Мы ведь совершенно не знали о социальных гарантиях на Западе. По телевизору часто показывалось, как «мучаются» в Вене в переполненных общежитиях уехавшие евреи в ожидании чего-то.

Я не знал, что уехавшие по израильской визе ждут разрешения на въезд в США. Позже Тамара Раскина говорила, что время, проведенное в Риме в ожидании виз в Штаты (к тому времени перевалочный пункт переместился из Вены в Рим), было лучшим периодом в ее жизни. Изучали английский язык, купались в Средиземном море, материально ни в чем не нуждались. Я и в самом начале 70-х не мог поверить маме Ильи,

когда она сказала: «Илюшка уже там, живет в гостинице с видом на море и изучает язык». Как это может быть: ни часа не работали в стране, а созданы такие условия? Среди наших родных и знакомых никто не уезжал. Первыми в 1988 году эмигрировали Раскины. Я пошел на встречу и прощание с ними к тете Фане. Мама сказала, чтобы я все разузнал, но я не знал, что это все, и не расспросил, как все происходит и что надо предпринимать. Леня взволнованно ходил по комнате, разговоры были какие-то несущественные. Никто не знал, как все обернется. Они тоже не представляли истинного положения.

В 90-м году сестра Фрица сообщила, что Германия будет принимать евреев. Финаревский через своих родственников в Москве пытался узнать, что и как, однако все было тихо. Но неожиданно, когда в марте 91-го я пришел в кабинет к Иосифу на обычное чаепитие, он показал мне анкеты-заявления в консульство ФРГ об эмиграции в Германию. Анкеты были получены им от родственников из Москвы. Неожиданную для меня активность проявила мама, она буквально гнала меня в консульство ФРГ за анкетами. Там было целое столпотворение, работники консульства вынуждены были устроить нечто вроде лотереи. Жека должен помнить. Нам повезло, примерно через неделю такие анкеты получили и мы. Двадцать четвертого марта анкеты были сданы в консульство Германии.

Я к этому мероприятию отнесся недостаточно серьезно: полагал, что, как все в Союзе, — пустые разговоры

и хлопоты. Но неожиданно для меня осенью Боря Резник получил уведомление из Германии с разрешением возможности его переезда в Германию. Примерно в то же время, будучи в отпуске в Трускавце, звоню домой, и мама мне сообщает, что пришло разрешение и нам. Дальше все пошло почти самотеком, но волнений было много: в банке не меняли деньги, не было валюты, потом упаковка и отправка багажа с бесконечными на всех этапах взятками. Это хорошо должен помнить Веня.

Женя к тому времени был уже в гостях у кузенов в Штатах. Мы тогда полагали, что он там задержится навсегда, но он через пять лет вернулся. Веня имел, как здесь, в Германии, говорят, «термин» на 24 июня 1992 года в консульство для получения анкеты на выезд. Суматоху с отъездом и отправкой багажа описывать не буду.

Во ВНИМИ к моему предстоящему отъезду отнеслись с пониманием: многим хотелось вырваться из разваливавшегося на глазах Союза.

Вот мы в поезде Ленинград — Берлин. Билеты у нас до Штутгарта. Целый день 24 мая, с пересадкой в Нюрнберге, едем через всю страну. Жарко, лето в разгаре. К вечеру прибываем в Эслинген — распределительный пункт принимавшей нас земли Баден-Вюртемберг. Воскресенье, из администрации никого нет. Ранее прибывшие успокаивают нас: «Возьмите матрацы, постелите на кухне и переспите». Мы в шоке, особенно мама, хочет сразу вернуться, но на первых порах удерживают технические трудности: у нас 11

багажных мест, да и билетов нет на руках. В большом зале, где посередине стоит большой стол, среди множества двухъярусных кроватей нашлось одно свободное нижнее место. Размещаемся вдвоем. Над нами молодой парень по имени Слава. Мама всю ночь не спит, плачет. Ее утешает нюф, чувствующий печаль человека. Утром одна женщина успокаивает маму: «Сходите (ударение на первом слоге) в магазин и не захотите уезжать». Действительно, поражаемся впервые увиденному супермаркету ALDI. Ждем, куда нас поселят. Только часам к двенадцати появляется административный работник — вьетнамка и предлагает нам Людвигсбург.

Мы соглашаемся, так как ничего не знаем и хотим хоть как-то определиться. Удивляемся, что некоторые не соглашаются и чего-то ждут. На авто с одинацатью нашими багажными местами едем в Людвигсбург. Привозят в лагерь, огороженный «колючкой», два побеленных двухэтажных здания имеют приличный вид, остальные — деревянные бараки. Как потом выяснится, это лагерь для так называемых «азюлянтов», иностранцев (в основном африканцев, румын и беженцев из распавшейся Югославии), просящих убежище. Мы и 20 еврейских, уже живущих здесь, семей попали в лагерь по ошибке.

Было неопишимо тяжело: не знаем ни своих прав, ни куда ткнуться, без языка отрезаны от всего мира. На самых первых порах помогли Горелики. Они объяснили, куда следует идти, чтобы поставить бессрочную визу (unbefristet), где находится Sozialamt, в котором

нам сразу выдали по 500 марок. Наум (мама называла его Наумчиком — небольшой, кругленький) заходил к нам в комнату и утешал: «Что вам еще нужно? Денег достаточно, в магазинах все есть». В магазин ходим далеко, минут 40 — ездить на автобусе дорого. Да и время быстрей проходит. Имеется магазин и поближе, но он меньше. Сделав покупки, едим в скверике бананы по 1 марке за килограмм, что в пересчете на давние наши оклады (100 руб.) соответствует 10 копейкам. Бытовые условия хорошие: на всем нашем первом этаже, кроме нас, занимающих комнату в 12 квадратных метров с двумя двухъярусными кроватями, шкафом и холодильником, живут только Горелики. Их пятеро (муж, жена, двое детей и Наумова теща семидесяти пяти лет). Они занимают две такие же комнаты. Еще одна числится за хаусмастером, но он бывает редко и почти не ночует. Просторная кухня практически на две семьи, туалет и душ с журчащим вентилятором. Стирка в машине с программным управлением бесплатная: утром относишь в соседний корпус, после обеда забираешь готовое. Но угнетает неясность будущего. Евреи, прибывшие до нас, не хотят переезжать в другие места и добиваются разрешения на проживание в Людвигсбурге. Они уже посещают курсы языка. Мы пытаемся к ним присоединиться, но руководство курсов просит подождать, пока организуется новая группа. Тогда мы еще не знали, что торопиться некуда, и нервничали. Когда гуляем среди посадок кукурузы и подсолнухов, с горы с завистью смотрим на приезжающего после работы и

выходящего из собственной иномарки негра. Так, забытые всеми, прожили два месяца. Ляйтер лагеря вдруг вспоминает, что мы там по ошибке и должны переехать в Штутгарт. И вот, с августа мы уже в столице земли Баден-Вюртемберг. Условия гораздо хуже прежних: в бараке 10 комнат, контингент — по отдельности люди вроде приличные, но одна пара отравляет все пребывание в доме. С октября занимаемся на курсах немецкого, вроде при деле, но надо рано вставать, а соседи до двух ночи не дают заснуть: шум, разговоры, а стенки тонкие, почти картонные — все слышно. С уборкой тоже плохо. Так длится, пока не перебираемся в другой барак, где все соседи порядочные, соблюдают тишину и поддерживают чистоту. Понемногу успокаиваемся, но почти каждый вечер уходим подальше от общежития, с тоской смотрим на пролетающие над нами самолеты.

Одна молодая семья в лагере — верующие. Неожиданно в лагере появляется Вальдемар Цорн с женой, заходят в комнату к одним, затем к другим, беседуют о жизни. Несмотря на наличие цветного телевизора, мы стесняемся убогости нашего быта. Приглашают к себе, да не просто приглашают, а он приезжает по субботам на микроавтобусе и везет к себе целую группу.

Так образовывается домашний кружок по изучению Библии. Я сразу сказал, что ни в какого Бога не верю. Но он ответил, что ничего страшного, можно просто сидеть и слушать. Посещали мы кружок (надо прямо признаться) не потому, что искали истину, смысл существования, а потому, что некуда было деться.

А здесь хоть один вечер проведешь в нормальной семейной обстановке, в приличной, доброжелательной семье, на короткое время отодвигается лагерь, будни в бараке с его коридорной системой... Пребывание в лагере скрашивают еще походы к телефону-автомату: часа в три по местному времени звоним Жеке в Штаты. Это тоже как-то отвлекает от унылости жизни, вроде даже при деле.

Как-то неожиданно приехал Веня. Своим посещением буквально устроил нам праздник. Он с июня уже жил в Дортмунде. А занятия в кружке мне нравились, я всегда любил и люблю учиться, даже сейчас, когда память стала сдавать. Постепенно втягивался все больше, накапливал кое-какие знания из новой для меня области. На одном из занятий кружка Вальдемар дал мне небольшую книжечку, которая перевернула все мое материалистическое мировоззрение, весь мой внутренний мир. Это книга Генри Морриса «Сотворение мира. Научный подход». Он очень тонко почувствовал, что именно такая книга сможет убедить меня в существовании Всесильного Бога. В ней убедительно, с научной точки зрения показано, что мир и все вокруг нас не произошло случайно, а сотворено, что Бог есть. Хотя, конечно, математического доказательства Его существования нет и быть не может, иначе не было бы никакой веры, а существовало бы просто знание. Это было как-то непривычно — больше пятидесяти лет Бога не было, и вдруг оказалось, что это не так. Правда, я еще не представлял что и как, еще не знал, не верил, что

Бог живой. Все это пришло позже, по мере изучения Библии. Сначала мой опыт ограничивался знанием, уверенностью в существовании Бога. Не сомневался я и в том, что Иисус — это историческая личность, притом весьма неординарная, божественная. Но я еще не представлял что и как, что суть веры в доверии Богу, Его Слову, еще не знал, не представлял, что Бог живой. Переход к вере облегчался и тем, что мама, как оказалось, давно верила в Его существование. Если путь к пониманию существования Всесильного был скорым, почти мгновенным, то дорога к постижению Творца длится до сих пор, ибо Он непостижим, Он бесконечен. Сначала была какая-то эйфория: казалось, что вокруг все верующие. Все представлялось простым: разъясни свое понимание сотворения мира, жизни, и слушающий, как и ты, поверит в то, что все сотворено, что есть Бог и надо только стремиться Его понимать, надо верить, верить, что все необходимое человеку знание о Себе Творец изложил в Своем откровении — в Библии. На деле многое оказалось не таким простым, и не только потому, что окружающие медленно и в очень малом количестве принимали мою веру, но я сам продолжал погружаться в бездонные глубины знания о Боге, о Его плане, возникшем еще до сотворения жизни и человека. В самом начале моей веры простой представлялась и жизнь с верой, или, как говорят, «в вере». Много позже я узнал не только о наличии разных конфессий, но и о существенном отходе от библейской веры даже самых близких к ней течений в протестантизме.

А тогда даже вопроса о крещении, вернее, сомнения в его необходимости не возникало: все казалось естественным, а вера в Мессию вытекала из веры в существование Бога, как сама собой разумеющаяся. Была, как я уже сказал, какая-то эйфория, казалось, что все уже верят в Бога и Мессию, а если кто и не верит, то просто потому, что не знает еще того, что знаю я. Стоит им рассказать, как они кинутся вслед за мной. И я не стал тянуть и ждать, чтобы совершить обряд погружения вместе с мамой. Тогда меня даже не смущала фразеология, риторика верующих, в среде которых я оказался (в основном немцев из бывшего Союза), напоминавшая непривычную для меня и каким-то образом ассоциирующуюся в моем сознании с православием. Мне и в голову не приходили мысли, будто крещение каким-то образом связано с отказом от еврейства, с изменой своему народу. Много позже иногда стали приходиться сомнения и вопросы, которые я, однако, успешно разрешал с помощью собственных размышлений и примеров известных раввинов и близких мне истинных верующих в Мессию Иешуа евреев. Эти вопросы касались, вернее, возникали в основном из-за несоответствия современного христианства принципам, догматам истинных последователей Иисуса из Назарета. Христианский антисемитизм и вековые гонения евреев со стороны христианского мира — разговор особый. Сбивают с толку и укоренившиеся в русском языке не переведенные или переведенные с греческого неверно имена и термины, в том числе и термин

«крещение». В моем сознании человека, говорящего на русском языке, слово «крещение» ассоциируется с тем, как православные христиане осеняют себя крестным знаменем, проходя или проезжая мимо церкви.

А ведь речь идет о погружении. Иоанн погружал приходивших к нему евреев в воды Иордана. Это было погружение покаяния. Баптисты, в среде которых я оказался, потому так и называются: — «baptizo» переводится с греческого как «погружаю». Не уверен, что большинство христиан могут правильно объяснить такие выражения, как «креститься в смерть Христа» или «во Христе Иисусе».

Основная масса современных христиан (католики и православные), по существу, являются мутантами, если рассматривать религиозное оформление веры по апостолу Шаулю (Павлу): корень и ствол — это иудаизм, последователи Мессии из евреев и евреи, пока не принявшие Его, а также принявшие Его (привитые к стволу) из язычников — это ветви. Так вот, верующие из язычников в огромном большинстве очень далеко отошли от ствола, от корней веры, утратили связь с источником, и потому не питаются их живительными соками. Они внесли в свою церковь столько языческого, что узнать в них последователей Иисуса почти невозможно. Осталось только название, которое не только смущает мессианских евреев, но и отталкивает евреев, еще не принявших Мессию. Протестантские общины тоже не могут в полной мере удовлетворить евреев, нашедших своего Мессию.

Но все эти соображения пришли ко мне годы спустя, а тогда Вальдемар погрузил меня в общине евангельских христиан баптистов, что было праздником. Позже, когда я стал задумываться о некоторых разногласиях с баптистами (вернее, с их причастностью, близостью к современным христианам), я писал Вальштейну, что лучше, конечно, погрузиться в общине мессианских евреев. Вопрос о том, в какой общине проходить обряд погружения, непростой. О том, где принимать крещение, задумывался в конце XIX века еще и Иосиф Рабинович, основатель движения мессианских евреев «Израильтяне Нового Завета».

Но тогда мессианских общин не было. Окружавшие его крещеные евреи, искренне поверившие и принявшие Иисуса, принадлежали к какой-либо конкретной деноминации христиан: католики, православные, лютеране, и их, похоже, вопрос о собственном еврействе волновал мало. Рабинович же хотел, оставаясь евреем, принадлежать к всемирной общине Мессии, и перед ним стоял вопрос: где и от кого принимать погружение. Те еврей-христиане были рады, что такой известный еврейский деятель обратился к Иисусу, они хотели видеть его в своих рядах, но не вполне понимали и не разделяли его стремление сохранять свою идентификацию еврея.

Но для меня, как уже написал, такого вопроса в тот период не было. Он иногда стал возникать позже, но тогда я уже имел достаточный опыт, чтобы отметить его, как шелуху, то есть противостоять сатане.

Окончили курсы по изучению языка. Летом получили социальную квартиру, обзавелись необходимой мебелью, на приобретение которой sozialamt выделил «круглую» сумму. Ради языка начал посещать курсы строителей. Оплачивало бюро по трудоустройству (Arbeitsamt). Одновременно разослал в ряд геодезических фирм резюме.

Неожиданно получил приглашение на беседу и, оставив курсы, устроился геодезистом. Проработал всего месяца три, и от моих услуг шеф отказался. Я думаю, что решающую роль в этом сыграло отсутствие у меня водительских прав и машины, хотя, видимо, и возраст, и недостаточное знание языка тоже повлияло. Мы продолжали посещать кружок по изучению Библии, постигали азы Книги, которая вскоре стала моим ежедневным чтением.

Тем временем Вальдемар предложил мне, пока найду работу по специальности, редактировать журналы, издаваемые миссией на русском языке, и принять участие в работе над Симфонией к Библии. Он сказал: «Работать можешь хоть весь день, но платить будем 500 марок, так называемый базис».

А между тем к осени 1994 года по предложению Вальдемара мы, несколько энтузиастов, под его руководством начали издавать еврейский мессианский журнал, названный «Менора». Работая в миссии «Свет на Востоке» в русском издательском отделе, которым руководил Цорн, я погружался в жизнь окружающих меня верующих с детства, родившихся в семьях веру-

ющих, и в работу, связанную с распространением веры в Мессию Израиля — Иешуа.

На первых порах вопрос о совместимости моего еврейства с верой в Мессию для меня не возникал. Я переживал свойственный многим только что уверовавшим душевный подъем, считал, что все вокруг уже думают, как я, или вот-вот будут думать и понимать все так же, как и я, то есть мировоззрение у всех, во всяком случае, у большинства, не будет отличаться от моего. Вальдемар организовал несколько моих выступлений на тему «О происхождении жизни на Земле», тезисы которых легли в основу одной из первых моих статей в журнале «Менора».

Сомнения, вернее, досада и некоторое разочарование в связи с различиями во взглядах многочисленных конфессий, деноминаций, групп и направлений, в том числе и среди протестантов, стали появляться значительно позже, когда я перестал целый день находиться среди сотрудников миссии «Свет на Востоке» и общаться, главным образом, исключительно с верующими. Эти сомнения в основном были связаны с усиленным педалированием доказательства и без того достаточно ясного для верующего в Иешуа (Иисуса) обстоятельства, что верующий в Иисуса еврей не только остается евреем, но становится «еще более евреем». Впрочем, евреем, как и все советские евреи, я был только по паспорту. А пока я с радостью занимался редактированием, писал статьи по новому для меня направлению, работал ежедневно по шесть часов.

Жизнь в эмиграции постепенно налаживалась, но Всесильный вел нас через испытания, которые, однако, усиливали, укрепляли мою в Него веру. Мама стала ходить с палкой. Началось все незаметно: то она поскользнулась в магазине на зеленом листочке, то упала, когда шла без меня на кружок. Когда она осознала, что не может управлять ногой, обратились к врачу. Эпопея была долгой. В Петербурге были у известного массажиста, специалиста по позвоночнику. Никаких улучшений.

Процесс прогрессировал, потребовалась палка, без которой мама уже не могла обходиться. Домашний врач Beate Renz направила маму к невропатологу, тот — на томографическое обследование головы, которое показало, что с головой все в порядке. «Тогда дело в позвоночнике», — сказал врач, и мама попала в больницу, где обнаружили в районе позвоночника опухоль, которая пережимала нервы, и нога не принимала команды головного мозга. Предстояла опасная операция, при которой могли быть задеты нервы и, как следствие, паралич. Но альтернативы не было: иначе инвалидная коляска.

Вот тогда я получил доказательство не только существования Творца, но того, что Он живой и реальный. Я неистово, с огромной верой и надеждой молился, и Бог не только услышал, но и откликнулся на мои мольбы. Тогдашнее мое состояние передать словами трудно, надо побывать в шкуре человека над пропастью.

Операция прошла успешно, а образование оказалось доброкачественным. Но не успели мы отойти от шока, и мама после лечебной гимнастики уже нормально ходила, как оказались перед новым испытанием: у мамы обнаружили какое-то утолщение на желчном пузыре. Трагедия виделась в том, что с нашим знанием языка мы поняли, будто врач, к которому нас направила Beate Renz, заподозрил рак. Но потом Beate разъяснила мне, что речь шла лишь о возможном перерождении утолщения и целесообразности в этой связи операции. С Божьей помощью все и на этот раз обошлось благополучно, хотя больница (условия оба раза были выше всяких похвал) настроения не повышала. Но вот уже скоро десять лет, как мы обо всем этом почти забыли. И только когда мне кажется, что моя вера ослабевает, я вспоминаю о том, как живой Бог реально откликнулся на мои молитвы. Нам, воспитанным на идеях атеизма, зачастую кажется, что мы все преодолеваем собственными силами, силами науки, врачей, но это заблуждение. Заблуждение основывается на том, что Творец действует, используя установленные Им же физические законы, и крайне редко пользуется пока не понятными нам методами и потому необъяснимыми рационально. А человек, пользуясь тем, что результат почти любого явления есть функция многих переменных, всегда может объяснить любое непонятное явление «с научной точки зрения» природными явлениями.

Веря в живого Бога, постоянно ощущая Его присутствие в моей жизни, я с легкостью воспринял Новый

Завет, который раввины запрещают читать евреям. Божественность Иисуса Мессии мне представлялась само собой разумеющейся, я в ней нисколько не сомневался. Из Писания естественно вытекала необходимость погружения, тогда еще называемого мною, как и всеми вокруг, крещением. Это название, ассоциировавшееся в моем сознании с «осенением крестным знамением», и тогда не вызывало во мне отторжения. Хотя теперь я этот акт называю погружением, а Иисуса Христа — Иешуа Мессией.

Посвящение себя и своей жизни Мессии, Богу нашему, проходило торжественно в общине баптистских христиан. Погружал меня Вальдемар Цорн.

Работа в журнале, где я с 1998 года стал ответственным редактором, мне нравилась и доставляла удовлетворение. Я постоянно находился среди единомышленников, жил работой по просвещению евреев и неевреев. Особенно отрадно было читать благодарственные письма читателей. Радовало, что благодаря журналу к вере стали приходить евреи. С некоторыми завязывалась переписка. Среди них был профессор, декан (бывший, конечно) факультета Карагандинского горного института, весьма пожилой Ханох (Геннадий) Исаакович Вальштейн. Человек, воспитанный в иудаизме, на Торе, окончивший еврейскую школу, владевший ивритом и идиш, в 1939 году имевший приглашение в Иерусалимский университет, читая статьи в «Меноре», пришел к вере в Иешуа! Это были плоды и моего труда.

Сознание этого укрепляло мою веру и помогало в трудные минуты. Жизнь в вере и с верой, с Мессией в сердце продолжается, ибо вся жизнь верующего есть восхождение к Богу, подобно восхождению, к которому Бог призвал Иакова: «Встань, взойди в Вефиль и живи там» (Быт. 35: 1). Вефиль переводится как «дом Божий».

Об остальном и об опущенных подробностях, пока жив, можете спросить.

Обо всем этом я написал вам, дорогие мои, в надежде, что вы извлечете из моего жизненного пути что-то полезное, а знание его позволит вам избежать ошибок на своем пути познания смысла жизни.

С Богом, мои дорогие!





Книга «Обретение Бога», рассказанная в форме писем к детям, – история семьи автора. Она примечательна тем, что описывает жизнь в еврейской среде значительной части XX века. Для читателей, которые не знакомы с обычаями, бытом и условиями жизни евреев в Советском Союзе, эта книга может стать своего рода ключом к пониманию своих ровесников из еврейского народа, их целей, их сомнений, их поиска и, в конечном итоге, как в случае с Марком Раиком, обретения внутреннего мира и

покоя. Для читателей, соплеменников автора, будет интересен путь к Богу человека, который, как и они, вырос в атеистической стране, в секуляризированной атмосфере советской еврейской интеллигенции, вдали от страны предков и ее культуры. При всей разности пути читатель увидит нечто единое и универсальное: путь у каждого свой, но только по обстоятельствам и условиям жизни, а не по отношению к истине и ответам на вопросы сердца.

